

Королевы Возрождения

М. Бересфорд Райли

QUEENS OF THE RENAISSANCE

M. BERESFORD RYLEY

Электронная книга проекта Гутенберга о королевах эпохи Возрождения

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Королевы Возрождения

Автор: М. Бересфорд Райли

Дата выхода: 12 марта 2017 г. [Электронная книга № 54346]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Ирмой Спепар, Сэмом У. и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом / Канадскими библиотеками)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "КОРОЛЕВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ" ***

Примечание переписчика

Изображение на обложке создано автором для удобства читателя и находится в общественном достоянии.

КОРОЛЕВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

М. БЕРЕСФОРД РАЙЛИ

С ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

МЕТНУЕН & СО.

ЭСЕКС-СТРИТ, 36, WC

ЛОНДОН

Впервые опубликовано в 1907 году



КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ АЛТАРЬ БЕАТРИЧЕ И ЛЮДОВИКО -ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗЕНАЛЕ
К Б...

Содержание

	СТРАНИЦА
ПРЕДИСЛОВИЯ	ix
ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ	1
БЕАТРИЧЕ Д'ЭСТЕ	53
АННА БРЕТОНСКАЯ	104
ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА	150
МАРГАРИТА АНГУЛЕМСКАЯ	202
РЕНЕ, ГЕРЦОГИНЯ ФЕРРАРСКАЯ	251

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет двух людей, которые видят одним и тем же зрением. Именно по этой причине, хотя двадцать жизней шести женщин, выбранных для этой книги, были написаны ранее, мне кажется, еще осталось бы место для двадцать первой. Ибо, хотя факты могут оставаться идентичными, невозможно повторить точную точку зрения другого разума. Поэтому я без колебаний добавил эти шесть исследований характеров ко многим томам, схожим по объему и тематике.

Книга называется “Королевы Возрождения”, но Екатерина Сиенская жила до того, как началось Возрождение, а Анна Бретонская, хотя двое ее мужей принесли его дух во Францию, сама не имела и намека на его прекрасное, проникающее рвение. Они включены, потому что, тем не менее, помогают создать непрерывность и согласованность впечатления, а шесть, ведущие, как это естественно бывает, друг к другу, передают в массе некое согласованное представление о духе Возрождения.

Возможно, главная цель писательства вообще заключается во внутреннем интересе к любой реальной жизни, прожитой до нас. Ибо каждое существование - это *частица* по отношению к существованию; каждый персонаж - это личное мнение о ценности характера, чувств, добродетели и многих других вещей. Ни одна личность не повторяет другую, ни одна человеческая драма не воспроизводит точно такие же запутанные осложнения других драм. В каждой жизни и в каждом человеке есть какой-то элемент уникальности, какой-то налет необычности. Из-за этого даже самая скучная индивидуальность обретает оживление в биографии. В нем есть, если не больше, пафос его тупости, назидательные предупреждения о его отказах, неожиданность его индивидуализирующих ошибок.

Все последующие жизни неизбежно и бессознательно передают некоторые утверждения относительно возможностей, предлагаемых существованием. Одному это казалось местом экстаза радости, успеха, удовлетворения; другому - великим учебным заведением для души; третьему - замечательной основой для практического устройства домашнего хозяйства и

рутины; Рене Феррарской - сбивающим с толку, утомительным скоплением трудностей и огорчений; ее более очаровательной родственнице-загадкой, всегда омрачаемой еще большей и мрачной загадкой смертности. И, наконец, для странной, неуловимой Лукреции трудно представить, что это вообще должно было означать, если только последовательность обстоятельств, на которых никогда, ни при каких условиях нельзя останавливаться в их уничтожающей целостности, а просто разбирать по частям день за днем, сокращая и упрощая за счет краткости отдельных часов и мгновений.

В книге такого рода, цель которой в основном связана с персонажами и чтение которой неизбежно изобилует обходными путями и экскурсами, полная библиография заняла бы просто много страниц, хотя, казалось бы, в значительной степени лишь отдаленно затрагивает упомянутых дам, но среди недавних авторов мы глубоко признательны за полученную информацию следующим: Джейкобу Буркхардту, Джулии Картрайт, Августе Дрэйн, Фердинанду Грегоровиусу, Р. Луцио, Э. Ренье, Э. Родоконарчи и Дж. Аддингтону Саймондсу.

Наконец, в связи с портретами, вошедшими в "Жизнь Беатриче Д'Эсте", необходимо сделать краткое заявление. Ибо не только Бианка, жена Джангалеаццо, но и две любовницы Моро, Сесилия Галлерани и Лукреция Кривелли, к сожалению, вызывают сомнения. Однако портрет Бьянки кисти Амброджо да Предиса, скорее всего, действительно изображает Бьянку, хотя некоторые авторы все еще считают его подобием самой Беатриче. Хотелось бы, чтобы это было так; ее красота тогда была бы неоспоримой и восхитительной. Но на самом деле надежды нет. Достаточно взглянуть на другие известные портреты Беатриче, чтобы увидеть, что ее лицо было пухлым или почти пухлым и что ее очарование полностью и иллюзорно проистекало из личного интеллекта. Оно улетучивалось в тот момент, когда кто-то приходил запечатлеть ее облик в скульптуре или на холсте. Природа на самом деле мало что сделала для нее. Не было ни очертаний, ни ярких черт, ни восхитительной свежести красок. У глупой женщины лицо Беатрис было бы абсолютно уродливым. Но она, благодаря чистой "живости", чистой жизнерадостной игре выражений, на самом деле передавала эквивалент привлекательности. Но все это было бессознательным колдовством — на самом деле Беатриче была простой женщиной, обладавшей достаточной привлекательностью, чтобы казаться хорошенькой, в то время как портрет Бьянки безошибочно и с любовью красив.

Что касается портретов, опять же, двух любовниц Моро, Чечилии Галлерани и Лукреции Кривелли, абсолютной уверенности нет. Портрет, обращенный к странице 6 "Жизни Беатриче", был недавно обнаружен в коллекции достопочтенного Дж. графа Роден, и в статье, опубликованной журналом *"Берлингтон Мэгэзин"*, предположительно, речь идет о Лукреции Кривелли. Однако это кажется маловероятным, потому что Лукреция во времена увлечения Моро была молодой девушкой, а картина Амброджо да Предиса, безусловно, изображает женщину, и более того, чей опыт подвел ее к опасной грани цинизма.

В то же время портрет, вне всякого сомнения, не только принадлежит женщине, которую любил Илья Моро, но, предположительно, был написан в то время, когда его привязанность к ней все еще сохранялась, поскольку не только маленькие украшения в форме сердца, скрепляющие нити ее сети, считаются символом эмблемы Илья Моро в виде листа шелковицы, но и изящно нарисована голова мавра, еще один значок Людовико, по обе стороны от которого расположены буквы L. O. и два S. S. Сфорца. сзади. Брошенная любовница, если бы Амброджо

— один из придворных художников Иль Моро - вообще нарисовал ее, имела бы благоразумие не носить символы, явно предназначенные в тот момент только для одного возлюбленного.

По—видимому, есть все основания предположить, что на картине изображена Сесилия Галлерани, которая уже не поддавалась очарованию юности до того, как Людовико неохотно расстался с ней, и о которой он не только очень сильно заботился, но и на протяжении ряда лет. Кроме того, Сесилия Галлерани, чтобы усилить это предположение, была исключительно интеллектуальной женщиной, и портрет, находящийся во владении графа Родена, прежде всего выражает почти унылый интеллект. Глубокие размышления, находясь в положении любовницы *любого* мужчины, должны оставлять неприятные следы, и Сесилия прославилась даже не физической привлекательностью, а тем, что ее ум был чрезвычайно богатым и восприимчивым.

Две другие картины — “Красавица Ферроньер” и “Женщина с лаской” Леонардо да Винчи — имеют спорную идентичность. Но поскольку первый сейчас почти повсеместно считается портретом Лукреции Кривелли, второй, несомненно, изображает и ее. Ибо у обоих один и тот же прекрасный овал, одна и та же молодость, одни и те же непостижимые глаза и нежное лукавое выражение лица. Кроме того, обе в совершенстве представляют тот тип красивых девушек, который, вероятно, вызвал бы у Людовико страстное восхищение. Он уже не был молод, когда ухаживал за Лукрецией, и если картины Леонардо действительно являются ее портретами, то она была похожа на некую символическую фигуру совершенной молодости, уникальную и неповторимую.

М. Б. Р.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПЕЙДЖЕМ, <i>Фронтиспис</i>
БЕАТРИЧЕ И ЛЮДОВИКО СТОЯТ НА КОЛЕНЯХ. АЛТАРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЗЕНАЛЕ В БРЕРЕ , <i>С фотографии господина Дж . Андерсон</i>	
статуя в древесине СТ. Екатерина, по NEROCCIO Ланди <i>по фотографии от Господа. УЛ. Ломбарди</i>	2
. ДОМ ЕКАТЕРИНЫ В СИЕНЕ, <i>По фотографии, сделанной господами Дж. Ломбарди</i>	16
ЕКАТЕРИНА МОЛИТСЯ ВО ВРЕМЯ КАЗНИ. ФРЕСКА СОДОМЫ	18
МОСТ В ПАВИИ	61
БЕАТРИЧЕ Д'Эсте. БЮСТ В ЛУВРЕ <i>По фотографии господина Дж . Леви</i>	64
портрет, вероятно, из-Чечилии Галлерани, говорят, Амброджо да ПРЕДИСА	90

<i>из коллекции Граф Роден</i>	
Лукреция Кривелли, Леонардо да Винчи	96
<i>фотографии на гг. Мэнселл</i>	
ВЕРОЯТНЫЙ ПОРТРЕТ БЬЯНКИ СФОРЦА, ЖЕНЫ ГАЛЕАЦЦО САНСЕВЕРИНО	98
<i>По фотографии мистера Дж. Мэнселл</i>	
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ ДЕЛЛЕ ГРАЦИИ В МИЛАНЕ,	100
<i>С фотографии господина Мэнселла. Броги</i>	
ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕАТРИЧЕ Д'Эсте В МУЗЕЕ ЮЖНОГО КЕНСИНГТОНА	102
ИЗ КАЛЕНДАРЯ, ХРАНЯЩЕГОСЯ В ЧАСОСЛОВЕ Анны В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ, ПАРИЖ	120
<i>По фотографии господ. Берто</i>	
АННА СТОИТ НА КОЛЕНЯХ. ИЗ ЧАСОСЛОВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ	128
<i>По фотографии господина Дж. Берто</i>	
СВЯТОЙ УРСУЛЫ. ИЗ ЧАСОСЛОВА Анны В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ	140
<i>По фотографии господина Дж. Берто</i>	
ВЕРОЯТНЫЙ ПОРТРЕТ ЛУКРЕЦИИ В “СВ. КЭТРИН И СТАРЕЙШИНЫ” ПИНТОРРИККИО,	152
<i>С фотографии мистера Дж. Брожи</i>	
Богоматерь с младенцем, по PINTORRICCHIO, в зале искусств в Ватикане	159
<i>от фотографии на гг. Андерсон</i>	
БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ИЗ СЕРИИ ФРЕСОК , НАПИСАННЫХ ПИНТОРРИККИО В ВАТИКАНЕ	171
<i>По фотографии господина ПИНТОРРИККИО . Андерсон</i>	
СЮЗАННА И СТАРЕЙШИНЫ. ИЗ СЕРИИ ФРЕСОК , НАПИСАННЫХ ПИНТОРРИККИО В ВАТИКАНЕ	188
<i>По фотографии господина ПИНТОРРИККИО . Андерсон</i>	
ГОЛОВА ГАСТОНА ДЕ ФУА	206
<i>С памятника в Милане</i>	
Карлу V.	226
<i>С фотографии господ . Giraudon</i>	
MARGARET D'ANGOULÊME. С РИСУНКА В ЧЕСТЬ КОРНЕЛЯ ДЕ ЛИОНА	248
<i>С фотографии господина Дж. Жиро</i>	
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ РЕНЕ ФЕРРАРСКАЯ, АВТОР КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН ". Жиродон	254

По фотографии господина Дж. Жиро

КОРОЛЕВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ

1347-1380

ЕКАТЕРИНА Сиенская на самом деле не принадлежит к эпохе Возрождения. В то же время она сыграла косвенную роль в его развитии и олицетворяла напряжение чувств, которое продолжалось до крайних пределов своей продолжительности. В лучший период стремления к культуре преемница — и подражательница — Екатерины, сестра Лючия, стала модным увлечением в некоторых частях Италии. Герцог Эрколе Феррарский, в то время пожилой и обеспокоенный своей душой, проявил такую же глубокую и личную заинтересованность в том, чтобы заманить ее в Феррару, как и в деталях женитьбы своего сына на Лукреции Борджиа, о которой как раз тогда велись переговоры. Атмосфера, созданная Екатериной, присуща эпохе Возрождения. Она дополняет то одностороннее впечатление, которое производят женщины, которые следуют за ней. Она также была современницей Петрарки и Боккаччо, признанных предшественников интеллектуального пробуждения, наступившего после них, и, будучи таковой, находится далеко на заре, какой бы слабой она еще ни была, наступающего дня Возрождения. Наконец, в ее собственной персоне было столько силы и очарования, что опустить ее, когда есть хоть малейший повод для включения, означало бы умышленно пренебречь одним из самых очаровательных персонажей среди женщин итальянской истории.

Дочь зажиточного торговца Джакомо Бенинказа, Екатерина родилась в Сиене в 1347 году. Ее отец обладал несколькими приятными качествами и большой сдержанностью в выражениях, внутренне ненавидя всякую вольность выражений. Мать Кэтрин, Лапа, с другой стороны, принадлежала к обычному типу работающих женщин — трудолюбивых, но раздражительных и ограниченных. Она произвела на свет двадцать пять детей, и ее вспыльчивость, возможно, была не лишена связи с этим героическим достижением. Сыновья также после женитьбы продолжали жить со своими женами — таков был обычай того времени — под родительским кровом. Даже человек с общительным темпераментом легко обнаружил бы, что с таким сообществом трудно всегда обращаться сердечно.



СТАТУЯ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ИЗ ДЕРЕВА РАБОТЫ НЕРОЧЧО ЛАНДИ

Кэтрин была младшим ребенком Бенинказы. В младенчестве она оказалась необычайно привлекательной. На самом деле она была такой милой и лучезарной, что соседи прозвали ее Ефросиньей, а ее маленькая фигурка была очень соблазнительной и веселой. К сожалению, как и все дети того периода, она стала поразительно развитой не по годам, и с первым развитием интеллекта проявилась религиозная страсть. У Кэтрин стремление к духовности было врожденным. В пять лет у нее вошло в привычку подниматься наверх на коленях, повторяя “Радуйся, Мария” на каждой ступеньке. Ей нравилось, когда ее водили в церкви и места поклонения, и в возрасте шести лет началось ее преднамеренное и жалкое самопожертвование.

Девочка во время выполнения поручения, с которым ее послали, поверила, что увидела святое видение. В случившемся не было ничего экстраординарного, поскольку воображение у нее было острое, а темперамент нервный. В более позднем веке, питаясь волшебными историями, она увидела бы гномов, эльфов или золотоволосых принцесс. Вместо этого, пропитанная религиозными легендами, она увидела Иисуса Христа в великолепных одеждах и с тиарой на голове, в то время как по обе стороны от Него стояли святой и несколько монахинь в белых одеждах. Это неоспоримое видение привело к колоссальным последствиям. Девочка вернулась домой, убежденная, что Сам Бог пришел призвать ее к лучшей жизни; гордая, испуганная и ликующая, она решила выяснить, как ей лучше всего стать такой хорошей, какой Бог хотел ее видеть.

Об этом начале религиозной жизни Екатерины больно вспоминать. Прежде всего, она решила, что должна отказаться от детских забав; кроме того, она решила есть как можно меньше пищи и наполнить свою жизнь епитимьями в манере взрослых святых мужчин и женщин, окружавших ее. Она также раздобыла немного веревки и, скрутив из нее миниатюрный бич, завела привычку тайком бичевать себя до тех пор, пока ее спина не покрылась рубцами. Описывая эту первую духовную борьбу шестилетнего ребенка, Кафферини, ее современник и биограф, говорит: “Более того, тайным инстинктом милосердия она поняла, что теперь вступила в борьбу с природой, которая требовала умерщвления всех чувств. Поэтому она решила добавить пост и бодрствование к другим своим епитимьям и, в частности, полностью воздержаться от мяса, так что, когда перед ней ставили что-нибудь, она либо отдавала это своему брату Стивену, который сидел рядом с ней, либо бросала это под стол кошкам, таким образом, чтобы этого не заметили”.

Эта жалкая “война с природой” продолжалась до тех пор, пока ей не исполнилось двенадцать. До сих пор ее родителям нравилось ее религиозное рвение. Но в двенадцать лет девочка стала годной для замужества. Сравнительная свобода детства прекратилась; Кэтрин держали взаперти в доме, вдобавок изводили предписаниями относительно прически и платья.

На самом деле у нее были очаровательные теплые каштановые волосы. К сожалению, в то время в моде был золотистый оттенок, и Лапа, стремясь к удачному замужеству, настояла на том, чтобы девушка поступила так же, как другие, и выкрасила волосы в этот цвет. Кэтрин сопротивлялась изо всех сил своей испуганной души. Но в конце концов, очевидно, благодаря уговорам любимой замужней сестры, она позволила своим волосам стать золотистыми. Как только это было сделано, совесть испытала страстные угрызения совести. Фактически, до конца

жизни это отступничество оставалось едва ли не самым острым сожалением, которое испытывала Кэтрин. Она никогда не могла вспомнить об этом без рыданий, из чего, по крайней мере, можно предположить, что голова канареечного цвета привлекала двенадцатилетнюю святую.

Тем временем выбор мужа стал неизбежен. При этом полупассивность Кэтрин переросла в настоящую панику. Невозможно было одновременно выйти замуж и посвятить свою жизнь Богу. Только кто стал бы слушать отказы такой юной девушки? Следуя практике римско-католической религии, она рассказала о своих трудностях своему духовнику и была спасена, предложив довольно сомнительный трюк. Ей достаточно было всего лишь остричь волосы, чтобы сделать брак невозможным: ни один итальянец не женился бы на женщине с бритой головой. Кэтрин помчалась домой и сразу же сделала, как ей сказали, закончив работу, прикрыв ее белой льняной накидкой. Девственницы в Италии носили распущенные волосы; следовательно, хитрость не существовала за час до того, как ее обнаружили. Затем последовала страстная домашняя сцена. Вся семья, похоже, в кои-то веки единодушно согласилась с тем, что набожность Кэтрин перешла границы здравого смысла. Потеря волос у ее ребенка привела Лапу в ярость. Раздражение стало настолько сильным, что какое-то время с целью сломить ее упрямый дух с Кэтрин намеренно жестоко обращались. Служанку держали для тяжелой работы на кухне; ее уволили, и Кэтрин заставили занять ее место. Но у девушки был не тот темперамент, который можно было запугать. Она была истинной сиенкой, и Боккаччо, как и другие, говорит о мужественном характере жителей Сиены. Имя Евфросиния также по-прежнему выражало ее характер. Обладая довольно детским воображением, она превратила их суровость в религиозную игру. Она притворялась, что ее отцом был Иисус Христос, Лапу она сделала Девой Марией, а своих братьев и сестер - апостолами и ученицами. Кухня стала самой внутренней скинией храма, где приносились жертвы Богу. В результате она повсюду излучала сияние и трезвую радость и приводила в замешательство тех, кто хотел видеть ее сокрушенной и раскаивающейся.

В конце концов вмешался Джакомо. У него был инстинкт доброты, и он сам был искренне религиозен. И вопрос о браке, и система жестокого обращения были оставлены. Чуть позже он дал согласие на религиозное призвание, и Кэтрин, еще ребенком, стала членом ордена Святого Доминика. Это не было строгим сообществом. Сестры жили не на пенсии, а в своих собственных домах, просто нося белую вуаль и черную рясу, называемую *Мантеллат*.

Незадолго до этого Кэтрин испытала очень человеческое искушение. Ею овладело страстное желание нарядиться в красивую одежду богатой замужней женщины и выходить на улицу, щеголяя в шелках и экстравагантности. Это желание более симпатично, чем ее физическое самоистязание. На самом деле, последние в какой-то степени обретают способность причинять страдания, потому что ее немногочисленные искушения показывают, что Кэтрин обладала всеми обычными человеческими желаниями и не была лишена приятных слабостей обычных мужчин и женщин.

Искушение, конечно, было побеждено, и с радостного момента принятия обета Кэтрин усилила все строгости поведения. В детстве она была крепкой и выносливой. Но ужасное обращение, которому она подвергла свой организм, разрушило бы любую конституцию, и с того времени, как она повзрослела, она становилась все более и более хрупкой, страдающей и невротичной. Желание подавить ее излишества очень велико. Можно было бы писать обильно и давать только

жизнь, изобилующую ароматными происшествиями. Но в случае Кэтрин пренебрежение глупостью повлекло бы за собой не только искажение характера, но и искажение той любопытной атмосферы, из которой она черпала основное вдохновение в своем поведении.

С двенадцати лет она постепенно заставляла себя есть так мало, что в конце концов ее желудок вообще перестал удерживать твердую пищу. Трудно понять, как она сохраняла жизнь в своем теле последнюю половину своего существования. Ее кровать с тех пор, как она стала монахиней, состояла из нескольких досок с бревном вместо подушки. Железный обруч был частью ее одежды, а ее дисциплина — если та, что сейчас показана как ее в ризнице Святого Доминико, подлинная, — состояла из железной цепи с острыми выступами для прокалывания и разрывания плоти. Идея была чудовищной и ужасной; тем не менее, ее стойкость возвышает ее до героизма. Непокоримо стремиться к такому мученичеству, как это, может быть гротескно и нелепо, но ни одно беспозвоночное существо не могло бы помышлять об этом. Однако из всего насилия, которое Кэтрин творила над своим телом, самым острым, от которого она страдала, был ее отказ от полноценного сна. Говорят, хотя в это чрезвычайно трудно поверить, что в течение определенного периода времени она спала всего полчаса в сутки, и то — только через день.

Несмотря на это, фотография, подаренная ей в то время отцом Томасом Антонио Кафферини, также членом церкви Святого Доминика и близким другом семьи, совершенно очаровательна. Он утверждает, что ее лицо всегда было веселым и улыбчивым, особенно если ее призывали помочь тем, кто попал в беду или был нездоров. Другие современники подтверждают это обладание лучезарной радостью. Когда она говорила, ее лицо озарялось, а улыбка была подобна живому сиянию, проникающему в сердца тех, на кого она смотрела. Тот же автор упоминает о ее восхищении пением и любви к цветам. Некий фра Бартоломео из Сиены свидетельствует о подобном. Он писал: “Она всегда была жизнерадостной и даже веселой”. Кроме того, он упомянул, что она “страстно любила цветы и имела обыкновение составлять из них изысканные букеты”. Личные записи Кэтрин изобилуют упоминаниями о растениях и цветах. То, что она постоянно пела, также было частью полноты характера, необычайно богатого тонкими чувствами. Меланхолия, которую она едва знала. Духовность, которая не приносила счастья, она могла ощущать только как ложное усилие. Либо ей не хватало любви, либо понимания.

В течение многих лет она жила затворницей в доме своего отца, но еще в подростковом возрасте ей показалось — предположительно, из—за природной мудрости характера - что Богу нужно не столько личное поклонение, сколько постоянная польза другим, из-за ее религиозной экзальтации, и с этого времени началась общественная карьера Кэтрин. Почти первым результатом ее веры в то, что она призвана к активному существованию, было ее постоянное пребывание в больницах и среди прокаженных. Одна из самых красивых историй, рассказанных о ней, касается ее работы медсестрой. Жалость имела очень мало жизнеспособности ни в Средние века, ни в эпоху Возрождения; это было почти мертвое качество характера, а жители Сиены были особенно закалены суровыми испытаниями.

Женщина, которая вела заведомо плохую жизнь, лежала при смерти в одной из больниц, абсолютно и намеренно заброшенная. Для большинства людей грешник, брошенный на дно, был подонком, на которого можно было плюнуть. Кэтрин не видела подонков на земле. Она улыбнулась умирающей женщине со всей своей врожденной мягкостью, выслушала ее

безутешные жалобы, ее невнятные воспоминания, дала ей пищу, которая ей больше всего нравилась, окружила ее нежным вниманием и, наконец, без каких-либо резких обвинений привела ее к раскаянию и спокойствию. С такой же нежностью можно было бы вывести ребенка из стадии непослушания.

Этот инцидент естественным образом подтверждает репутацию Кэтрин как миротворца. Она была еще маленькой девушкой, когда истории о ее убедительности рассказывали изумленным, арестованным зрителям по всей стране. Нрав сиенцев был в основе своей диким; поэтому ничто не могло тронуть воображение больше, чем истории о природе, способные действовать как нежный и охлаждающий бальзам на безобразия. Кэтрин, на самом деле, обладала как магнетизмом глубокой веры, так и силой врожденной учтивости. Первая внушала суеверный страх перед непостижимыми достижениями. Опередив христианских ученых, она исцеляла больных молитвой, в то время как простые ее соблазны положили конец многим острым разногласиям.

Баловаться мистическими методами - старая и всеобщая слабость. Жена некоего Франческо Толомеи, главы одной из знатнейших семей Сиены, услышала о чудесах Екатерины и, будучи подавлена домашними трудностями, обратилась за помощью к дочери красильщика. Мадонна Толомеи сама была глубоко религиозной женщиной, но ее мучило сознание того, что остальные члены ее семьи были прокляты. Старший сын, Джакомо, убил двух человек еще до того, как стал взрослым, и теперь его жестокость стала дьявольской, изобретательной и систематической. Были также две дочери, пропитанные светской суетой до мозга костей. Обе были накрашены. Кэтрин предложила посмотреть на девочек, но выразила неуверенность относительно последствий. Она нашла их с яркими волосами, которые всегда трогали ее до глубины души, и, возможно, из-за этого она испытывала еще большую тоску. Об интервью ничего не сообщается. Двух сестер, в жилах которых текла кровь толомеи, вряд ли было легко отвлечь от мирской суеты; но к концу визита Кэтрин они были подобны ягнятам в руках умелого пастуха. По словам Кафферини, они выбросили свою косметику в канаву, обрезали свои блестящие волосы и через несколько дней присоединились к сестрам Святого Доминика. Это своего рода триумф, которым полна жизнь Кэтрин. Ее личный магнетизм был необычайным, а проницательность - поистине гениальной. В то время она тоже была молода и сама являлась живым примером того, каким соблазнительно веселым может сделать человека доброта. По правде говоря, до конца она оставалась не столько монахиней, сколько женщиной, и как женщина она была воплощением чарующего сочувствия и утешения. Просто видеть ее — мягкую, милую, таинственно понимающую — было как утешение для больного сердца. Но самую поразительную часть истории Толомеи еще предстоит рассказать. Джакомо, со своими безумными и кровавыми страстями, был в отъезде, когда произошло обращение его сестер. Он вернулся домой и напустил на дом ужас. Сумасшедший, выпущенный на свободу, был бы менее опасен. Донна Толомеи, потрясенная теперь физическими, а не духовными предчувствиями, немедленно послала гонца предупредить Екатерину, что никакая опасность не была слишком ужасной, чтобы ее можно было предвидеть; в его нынешнем состоянии он способен на все. Кэтрин не почувствовала учащенного сердцебиения. Она была погружена в интуицию и спонтанное знание. Якобы в качестве акта изысканной вежливости она послала фра Бартоломео — который, должно быть, был храбрым человеком — объяснить ситуацию, в то время как сама от всего сердца и души молилась за неуправляемого грешника. Несколько часов спустя Бартоломео вернулся. Кэтрин встретила его улыбкой; она уже знала, какие новости он принес. Ее молитвы — такие страстные — уже были услышаны. Джакомо — дьявольский,

кроважидный, неумолимый Джакомо — уже был кроток, как ягненок, под воздействием новых и всепоглощающих эмоций. Не в последнюю очередь любопытно в этой истории то, что он остался изменившимся персонажем и продолжал ненавидеть зло с той же силой, с какой практиковал его в прежние дни. К концу своей жизни он даже принял обряд доминиканца Третичного ордена, причем обязательства этого третьего ордена не были чрезмерными.

Есть еще одна история об этом более раннем периоде, еще более очаровательная в своей оригинальной и трагической грации. Только прежде чем рассказывать об этом, возможно, следует затронуть вопрос о чудесах Кэтрин, поскольку они также начались, когда она едва вышла из детского возраста, и очень помогли сделать ее признанной знаменитостью. Они и ее аскетизм - непривлекательная сторона святости Кэтрин. В то же время ни один святой того периода не смог бы добиться слушания без них, и ни одна человеческая система не смогла бы выдержать напряжения, которому подвергал ее средневековый религиозный энтузиаст, не вызвав самовнушения и каталепсии. Кэтрин в раннем возрасте впала в транс, описанный ее биографами как “экстаз при мысли о Боге”. Описывая один из таких экстазов, ее друг Рэймонд написал, “что в таких случаях ее тело напрягалось и, поднятое в воздух, издавало чудесный аромат”. Все старые католические писатели, для которых чудеса были неотъемлемой частью святости, были щедры на приумножение сверхъестественных подробностей. Из этих утверждений многое приходится вычитать; но даже в этом случае остается немало так называемых чудес, засвидетельствованных другими, более критически настроенными свидетелями. То, что ее видели поднятой с земли во время молитвы, является фактом, подтвержденным многими людьми. Человек по имени Франческо Малевольти утверждает, что он видел, как она “бесчисленное количество раз” поднималась с земли во время молитвы и оставалась подвешенной в воздухе более чем в локте над землей. Он упоминает, чтобы придать вес своим показаниям, что для того, чтобы проверить реальность произошедшего, он и некоторые другие провели руками между ней и полом — вещь, которую совершенно легко сделать. Поскольку это происходило среди бела дня, современные спиритические *сеансы* кажутся по сравнению с ними неуклюжими. Екатерина могла бы добиться большего успеха в четырнадцатом веке.

Самым важным чудом из всех было, конечно, стигматизация. Одно это определенно гарантировало ее положение как человека, облеченного властью от Бога; это было последним и неопровержимым знаком Божественного и чудесного вмешательства. На момент этого происшествия Кэтрин было двадцать восемь лет, и она перенесла из-за этого сильнейшие мучения. Самым любопытным обстоятельством, связанным со стигматами в случае Кэтрин, было то, что они не были как следует видны при ее жизни, но стали совершенно отчетливыми после ее смерти. В этом вопросе ее преемница, Святая Люсия, религиозная знаменитость времен Лукреции Борджиа, превзошла женщину, которой она пыталась следовать. Ее стигматы всегда были на виду — кровоточащие раны, на которые мог смотреть любой.



ДОМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ В СИЕНЕ

Возвращаясь к самой прекрасной из всех историй, касающихся девичества Екатерины, следует помнить, что тюрьмы Сиены были едва ли не больше заполнены политическими заключенными, чем преступниками. На протяжении всего Ренессанса политических заключенных самих по себе было почти достаточно, чтобы заполнить итальянские тюрьмы. Екатерина, которая понимала, что такое любовь к грешникам, обычно навещала осужденных преступников. Тех, кто потерял всякую надежду в этом мире, она коварно подпитывала победоносными мечтами о

будущей надежде. Она сделала больше. Когда наступил день казни, она присоединилась к процессии, ведущей к эшафоту. Трудно переоценить, что значило в этом необъяснимом отчаянии последнего публичного прощания находиться в обществе этой женщины с ее сладкими, заразительными обещаниями во имя Христа. Рядом с ней всегда было воплощенное утешение, и даже внезапная и вынужденная смерть, должно быть, была легче, когда она была рядом, чтобы излить жалость и ободрение.

Одно время среди заключенных был некий Николас ди Толедо, который категорически выступал против "Риформатори" — сильной правительственной партии. Этот Реформатор состоял из совета, первоначально избранного во время острого политического кризиса для внесения срочных поправок. Знать не принимала в нем участия. Сиена с 1280 года, когда произошло примирение между сиенскими гвельфами и гибеллинами, была торговой олигархией, которой сначала управляли *Нове*, затем *Додичи*, а после того, как оба они были сметены, *Риформатори*, в которую были включены некоторые члены обоих предыдущих правительств. *Riformatori* начался хорошо, а закончился плохо. Члены *Новески* и *Додичини* почти сразу же выступили против этого; гражданские беспорядки стали нескончаемыми. Новая власть, выведенная из себя, прибегла к ужасам репрессий. Людей арестовывали по простому подозрению в неодобрении, а затем публично пытали, чтобы привести в ужас других. Распространенной привычкой было медленно разрывать преступника на куски раскаленными докрасна щипцами, пока его, связанного, везли на телеге, медленно проезжавшей по главным улицам.



СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА МОЛИТСЯ НА ФРЕСКЕ СОДОМЫ "КАЗНЬ"

В случае с Николасом ди Толедо, едва он покинул место своего импульсивного высказывания, как был арестован, и едва его арестовали, как он был приговорен к смертной казни. Подобная фраза никогда не приходила ему в голову даже на одно тошнотворное мгновение; она прозвучала с такой ужасной неожиданностью, что его разум на какое-то время закружился на грани безумия. Николас ди Толедо был едва ли старше мальчика, и первое тепло жизни билось в каждом пульсе. Этот горький, непостижимый конец выбил его из колеи — он никак не мог решиться умереть. Внезапно он подумал о Кэтрин, о которой, возможно, болтали другие заключенные, и отправил гонца, умоляя ее прийти к нему. Впоследствии она написала своему духовнику полное описание этой короткой драмы. Ее присутствие почти сразу успокоило и приободрило его. Оба были молоды, и Кэтрин, если и не была на самом деле хорошенькой, то источала восхитительную нежность. Для Николаса, помимо оптимизма, переданного ему ее

духовными обещаниями, должен был существовать необдуманный, но пронзительный факт, что она была женщиной, а он мужчиной. Нельзя отрицать, что ни один монах, каким бы хорошим он ни был, не смог бы помочь ему умереть в такой же степени. Екатерина не только сделала возможным мужественно пройти через это, но и в конце концов придала этому что-то почти благословенное. Похоже, она была с ним большую часть времени и не только пообещала сопровождать его на эшафот, когда наступит день казни, но и предварительно отвела его на мессу и впервые в жизни убедила пообщаться.

Николас был всего лишь молодым светским человеком, и тяжесть этого безжалостного заключения была тем сильнее из-за него. Кэтрин, описывая это обстоятельство, продолжала говорить, что он совершенно смирился, опасаясь только того, что мужество покинет его в решающий момент. Он постоянно повторял: “Господи, будь со мной; не покидай меня”. Чтобы помочь ему, она повторила свою уверенность, что будет с ним в конце концов. Через мгновение его лицо просветлело, и он спросил ее с мальчишеской импульсивностью, как это ему удалось удостоиться такой великой милости. Предвкушая это, он мог встретить конец не только с мужеством, но и с чем-то странно похожим на удовольствие.

Они встретились, как она и обещала, на следующий день у эшафота. Кэтрин писала по этому поводу, что, когда он увидел ее, его лицо расплылось в улыбке и что он попросил ее осенить его лоб крестным знамением. Она так и сделала, прошептав, что скоро, очень скоро он перейдет к жизни, которая никогда не кончается. Затем произошел незабываемый эпизод из этой истории. В лучшем случае Николас был существом, не приученным к страданиям, и худший момент еще был впереди. Повинуясь интуиции, которая сама по себе была изысканной, Кэтрин сделала то, что одна лишь ханжеская чопорность большинства религиозных женщин сделала бы невысказанным. Она взяла голову мальчика в свои тонкие, мягкие руки и сама положила ее на плаху. Это действие было похоже на ласку, в которой растаяли его последние впечатления. Он пробормотал слова “Иисус и Кэтрин”. Нож рассек воздух у его шеи, и его голова упала в те же дрожащие руки, которые направляли ее во время последнего действия.

С человеческой стороны духовность Кэтрин редко бывала далека от совершенства. Характер и красота проявлялись в каждом ее спонтанном действии. Николас ди Толедо был лишь одним из многих мужчин, которых она очаровывала, и этот факт делает вопрос о ее внешности особенно интересным. Триумфы некрасивой женщины всегда более волнующие, чем те, которые достигаются простым успехом внешности. “Божественная простота”, увековеченная Лэмбом, может передать тонкости, недоступные простым закономерностям хорошо очерченных черт. Кэтрин оказалась очаровательной для большинства людей, но от ее портретов практически невозможно получить какое-либо впечатление, кроме скуки. Это было последнее, чем она могла бы стать в любое время, но условности Римско-католической церкви по отношению к портретам святых препятствовали любому обращению с ними как с живыми. Ее портрет в церкви Святого Доменико в Сиене, якобы работы Франческо Ванни, мог бы с таким же успехом подойти для любой другой истощенной сестры. В нем нет темперамента, нет озарения, нет видимой сладости. Глаза полузакрыты, выражение инертное и апатичное. Рот маленький, но ничего не значащий, нос длинный и правильной формы, овал лица восхитительный. В другом случае у Ванни получилось немного лучше. Есть гравюра его работы, которая почти привлекательна. Глаза, из-за религиозного требования смирения, снова полузакрыты, но рот одновременно восхитителен и обаятелен, и на лице играет полуулыбка. Учитывая очарование жизнерадостности, зажигательные перемены в жизни, на Кэтрин в молодости, должно быть,

было приятно смотреть. Конечно, многие мужчины любили ее. Она обладала способностью быть пронзительной в воспоминаниях и волнующе милой в своем телесном присутствии.

Даже художник Ванни, достаточно порочный, чтобы не поддаваться обращению, поддался тревожной потребности, которую она пробудила в нем. Он был большим ненавистником, и люди, которых он ненавидел, были убиты без угрызений совести. По какой-то удивительной причине — вероятно, из любопытства — он согласился взять интервью у Кэтрин. Когда он позвонил, ее не было дома, и ее духовник Раймонд принял его. По словам Раймонда, который описывает этот инцидент, Ванни вскоре заскучал и вскоре прямо заметил, что обещал навестить Кэтрин, но поскольку ее не было дома, а он был занятым человеком, то не мог больше ее ждать.

В этот момент появилась Кэтрин — по словам Раймонда, к большому неудовольствию Ванни. Но Кэтрин была сама улыбочивость, уют и простая непринужденность манер. Фактически, шансы Ванни не быть обращенным закончились с ее появлением. Манера его капитуляции была забавно характерна для самого мужчины. Кэтрин — она всегда была такой умной, когда вела себя хорошо, — вскоре вышла из комнаты. Ни одна женщина не знала лучше, когда еще одно слово было бы лишним. Едва она ушла, как Ванни выпалил, что из вежливости он не может полностью отказать ей в некотором удовольствии. В данный момент у него было четыре яростных источника ненависти, но, чтобы угодить Кэтрин, он отказался бы, в случае с одним из них, от всех мыслей о мести. Затем он направился к выходу из дома, но, не дойдя до двери, внезапно остановился и заявил, что едва может дышать, настолько сильным было чувство покоя и экстаза, которое дало ему это одно маленькое действие правильного рода. Очевидно, сопротивляться ее влиянию было бесполезно, и он тут же объявил себя побежденным и готовым отказаться от всех пороков, какие только мог, под нежным руководством Кэтрин.

Так был положен конец убийствам Ванни. Кэтрин держала его у себя до конца его дней. Остается только сожалеть, что он не написал ее портрет до, а не после своего обращения. Он бы меньше заботился о ее репутации святой, а больше о том, что было прекрасного в ее личности.

Кэтрин больше не жила дома. Она учредила неформальное сестричество в Сиене, где “Мантеллатные” сестры со всех концов Ломбардии жили сообща. Ее работа все еще продолжалась среди больных, прокаженных и заключенных. Но слухи о ее чудесах и почти чудесном даре убеждения распространились по многим частям Италии. Разговоры о дочери красильщика уже достигли ушей папы в Авиньоне и прокладывали путь к дальнейшим политическим успехам. Еще до того, как Кэтрин вышла из подросткового возраста, она наняла четырех секретарей, чтобы справляться с колоссальным потоком поступающей к ней корреспонденции. Именно благодаря срочной помощи в ответе на письма Кэтрин завела самую большую дружбу в своей жизни и подчинила своему влиянию человека, который во многом способствовал сохранению в ней естественных чувств.

Стивен Маркони никогда не отказывался от жизнерадостности и врожденной приземленности. Первоначально он, как и многие другие, столкнулся с Кэтрин из-за семейной вражды в Сиене. Стивен, упрямый и буйный, вызвал неприязнь как в семьях Толомеи, так и в семьях Ринальдини. Единственным завершением были потоки крови. Общие знакомые предпринимали бесполезные попытки установить мир; во время последнего кризиса перед насилием мать Стивена умоляла его пойти к “Мужественной” сестре. Предложение вызвало несколько презрительных комментариев. Но женщина настаивала, и, будучи по сути добродушным,

Стивен пошел, чтобы успокоить ее. Впоследствии у него были все основания благодарить за домогательства, которые пересилили насмешки. Кэтрин уладила все с абсолютным успехом, сам Стивен говорил о последовавшем примирении как о поистине чудесном.

Даже более необычным, чем примирение, было воздействие индивидуальности Кэтрин на Стивена Маркони. Он не обладал природной склонностью к духовности. Красивый, безответственный, востребованный, он воплощал искрометную светскость. Но, однажды увидев Кэтрин, он не смог удержаться. Были придуманы предлоги для дальнейших интервью, и однажды, обнаружив, что она перегружена корреспонденцией, он написал письмо под ее диктовку. Это было началом конца. Сначала неофициально, а затем явно, он стал одним из ее секретарей; в настоящее время также членом того, что называлось ее “духовной семьей”.

Сиена посмеивалась над обращенным аскетом денди, но Стивена это не волновало. Неумный юморист, он в полной мере оценил странность ситуации; хотя и шутливый, он был в то же время глубоко доволен. Кэтрин почти мгновенно стала движущей силой его жизни, единственной драгоценной вещью, в которой нуждалось его сердце. Было известно, что Кэтрин, со своей стороны, заботилась о нем больше, чем почти о любом другом человеке. Ее отношения с ним превратились в глубокую и волнующую дружбу. Ближе к концу своей жизни она услышала сообщение о том, что Стивен определенно отказался от своей полусветской суеи и принял аскетические обеты. Кэтрин должна была бы испытывать изысканное и сияющее утешение. Вместо этого ее письмо к нему на эту тему почти раздражительное. То, что какие-либо действия должны были быть предприняты без того, чтобы сначала стать предметом доверительных переговоров между ними, явно невыразимо ранило ее. Она написала, что, конечно, для нее было большой радостью услышать, что он желает вести лучшую жизнь, но что она была “очень удивлена” тем, что он принял какое-либо решение, предварительно не сказав ей об этом ни слова. Далее она добавила, что в этом деле было что-то, чего она не могла понять, хотя и молилась, чтобы все, что он делал, оказалось во благо его душе.

В этом больше признаков женщины, уязвленной неожиданным пренебрежением, чем какой-либо религиозной экзальтации по поводу спасенной души. Стефан не стал монахом, и недоразумение быстро прошло. Но это письмо приятно читать, потому что оно было написано в то время, когда мистицизм Кэтрин угрожал затмить чисто человеческую доброту ее прежних лет. Представление о Христе как о небесном Муже превратилось из расплывчатого символизма в определенное выражение духовной близости. То, что причудливое легкомыслие Стивена поддерживало в ней нормальные ощущения, было нереализованным элементом удачи. Она страдала всякий раз, когда они были разлучены, и среди последних писем, которые она когда-либо писала, было одно, адресованное Стивену, с трогательным, зависимым криком: “Когда ты приедешь, Стивен? О, приезжай скорее!”

Другим секретарем, тесно связанным с жизнью Екатерины на протяжении многих лет, был Нери ди Ландоччо, поэт, принадлежащий к группе писателей эпохи зарождения Возрождения. Он страдал от меланхолии и, однажды встретив Кэтрин, естественно, цеплялся за ободряющее сияние ее присутствия. Судя по его письмам, его юность была порочной. Во всяком случае, его преследовала мысль, что его проступки были серьезнее, чем Бог мог бы простить. Он довел себя до опасного уныния — уныния, от которого не было выхода. Тогда Кэтрин написала ему длинное письмо. Она повторила, что Бог гораздо более готов простить, чем человечество обидеть; что Он Врач, а человечество — Его больные дети. Она сказала ему, что печаль — это

худший недостаток ученика Христа. Верить в безграничную любовь Бога и все еще упорствовать в унынии было формой несправедливости.

Нери старался изо всех сил, но легкая задумчивость проникла в его характер, и даже Кэтрин не могла подбодрить его веселыми мыслями. Он и Стивен Маркони — крайние противоположности по темпераменту — глубоко привязались друг к другу. Они переписывались порознь, и Стивен после смерти Кэтрин назвал Нери “одним из тех, кого Господь вложил в самые сокровенные глубины моего сердца”. Третьим мужчиной, постоянно находившимся в обществе Кэтрин, был ее духовник Раймонд. Два небольших случая, рассказанных им самим и против него самого, предполагают совершенно честный и довольно приятный темперамент, но несколько ограниченные духовные способности. В первом он признается, что во время их путешествий множество людей толпилось у Кэтрин за исповедью и утешением, и что тот факт, что ему приходилось часами обходиться без еды и отдыха, сильно раздражал и утомлял его.

С другой стороны, оба звучат довольно мило, но в то же время почти с оттенком величия. Рэймонд, который снова рассказывает эту историю, говорит, что она любила разговаривать с ним на духовные темы, но, не обладая такой же мистической восприимчивостью, от этих бесед он часто засыпал. Кэтрин, поглощенная своим предметом, некоторое время продолжала говорить, не замечая, что ей не хватает слушателя, но когда ей это удавалось, она просто будила собеседника и добродушно поддразнивала его за то, что он позволил ей разговаривать со стенами.

Кэтрин от природы обладала самым здравым и нежным здравым смыслом. Именно она писала о молитве, что все, что делается из любви к Богу или нашим ближним, является формой молитвы, и те, кто всегда творил добро, всегда как бы пребывали в молитве. Любовь к своим ближним была практически одним из длительных вознесений сердца к Богу.

Когда Екатерина перешла к политической части своей жизни, был достигнут момент, когда можно сказать, что она косвенно повлияла на эпоху Возрождения в Италии. Папы все еще находились в Авиньоне, в то время как Рим требовал возвращения папства в его первоначальную столицу. Петрарка в одном из писем изобразил Рим в виде почтенной матроны, стоящей опустошенной и в лохмотьях у ворот Ватикана. “Наконец я спросил, ” писал он, “ как ее зовут, и она пробормотала это. Это донеслось до меня сквозь пустоту, посреди рыданий — это был Рома.” Конечно, с тех пор, как папы переехали во Францию, Рим как город развалился на куски. Церкви лежали в руинах, трава пробивалась сквозь тротуары до самых ступеней собора Святого Петра, мирные овцы использовали его окрестности для выпаса. Как две великие семьи города, Колонна и Орсини неустанно боролись за господство, в то время как люди в равной степени подвергались преследованиям, пыткам и уничтожению со стороны обеих. За исключением тех, кто считал убийство профессией, жизнь превратилась в кошмар; порядочность и спокойствие были такими вещами, от которых был развеян даже пепел.

Екатерина, как и Петрарка, обратила все свое красноречие на сторону римлян, и возвращение Григория в Италию римские католики всегда приписывают ее влиянию. Но прежде, чем этот вопрос встал между ними остро, Григори уже проверил здравый смысл Кэтрин в двух политических миссиях — одной в Лукке и одной в Пизе. Оба были успешно завершены, и в результате, когда Флоренция открыто восстала против власти папы, Екатерина была выбрана в третий раз для проведения посредничества. Прием на работу любой женщины в качестве дипломатического агента уже в 1370 году был экстраординарным обстоятельством. В эпоху

Возрождения часто использовалась интеллектуальная ловкость женщин. Но во времена Екатерины у женщин, как определенно утверждает Боккаччо, было мало занятий, кроме домашних обязанностей и волнующих интриг.

Екатерина произвела во Флоренции восхитительное впечатление. По прибытии ее официально встретили первые лица города. Флорентийская республика сама пригласила ее прийти к ним на помощь. В то же время чистый энтузиазм ничего бы не дал. Только непревзойденный интеллект мог тронуть флорентийцев. Каждая булла, исходившая от французского двора и от папы римского, имевшего личные интересы в чужой стране, вновь приводила их в ярость. Екатерина настороженно наблюдала, оценивая характер и манипулируя им, пока гвельфы и гибеллины, остро ощущавшие непрекращающийся антагонизм, в равной степени не уполномочили ее начать мирные переговоры в Авиньоне. Кэтрин немедленно отправилась во Францию. Стивен Маркони поехал с ней, и само путешествие, должно быть, наполнило ее множеством неизбежных удовольствий. Начнем с того, что она любила эту страну. Кроме того, цыганские путешествия того времени влекли за собой постоянные случайные инциденты и неожиданные импровизирующие действия. Неделя спокойного продвижения среди итальянских пейзажей пробудила бы радость жизни в большинстве людей, хотя бы и неосознанно.

В Авиньоне ее история становится, даже больше, чем раньше, драматическим триумфом личности. Когда она приехала, она была никому не нужна. У кардиналов были веские причины не желать влияния аскета во дворце; Григорий, инертный и больной, вздрогнул при мысли о человеке, известном своими возбуждающими качествами. Несмотря на это, ее приняли церемонно. На своей первой аудиенции Григори сидела в полном каноническом облачении в окружении всего конклава кардиналов, словно сверкающий драгоценный камень в пурпурном футляре. Екатерина вела себя кротко, хотя, по всей вероятности, ее мысли были менее спокойны, чем обычно. Ибо папская резиденция была великолепным местом: здесь были галереи, мраморные лестницы, колоннады, великолепные сады, элегантные фонтаны. Перед трезвым взором Кэтрин предстала предельная возможность роскоши, сам воздух был напоен ароматом.

Этого было достаточно, чтобы встревожить ее, поскольку от такого комфорта исходило заметное неклерикальное влияние. Но женщины, заполнившие дворец, возмущались еще сильнее. Их роскошные особы явно чувствовали себя как дома — сама атмосфера свидетельствовала о женственности. На самом деле многие из них были любовницами кардиналов; остальные — родственниками и друзьями папы, которым были предоставлены апартаменты во дворце. Моральные принципы самого Григория никогда не подвергались сомнению. Игнорируя их, он санкционировал скандалы в своем доме, но его собственная жизнь была жизнью невинного и образованного джентльмена, предпочитающего дорогую жизнь. Райнальдус в своих “Церковных анналах” говорит, что он был любящим и домашним человеком, любил свой народ и, по сути, слишком сильно шел на поводу у них, особенно в вопросе благотворительности. Его личная жизнь была безупречна — целомудренная, добрая и щедрая. Ученый человек, он получал удовольствие от общества других ученых. В Риме он немедленно отменил все пошлины на зерно, сено, вино и т. Д., Которые ранее взимало духовенство и которые наиболее тяжело ложились на бедняков. Но неприятности и тревоги, которые последовали за его возвращением в Италию, усугубились внутренним заболеванием, от которого он некоторое время страдал, и привели к его смерти в возрасте шестидесяти семи лет.

Эта внутренняя болезнь имела какое-то отношение к мягкой инертности поведения Грегори. Однажды Кэтрин убедила его в том, в чем заключается его долг, и он выполнял его, невзирая ни на какие личные склонности и привязанности.

Но в начале визита Екатерины вопрос заключался исключительно в том, как лучше поступить с недовольными флорентийцами. Проблема не принесла удовлетворения. Правительство пообещало Екатерине отправить послов в Авиньон с требованием мира. Между гвельфами и гибеллинами возникли новые разногласия, ни один из них не был отправлен, и переговоры провалились. Тем временем дамы в Авиньоне начали проявлять интерес к утонченной сестре, которая постоянно проходила мимо них по пути на аудиенцию и обратно. Они начались прежде всего с откровенного безразличия светских женщин к другим представительницам низшего класса. Но безразличие превратилось в болезненный интерес, когда через несколько дней стало бурно распространяться, что эта бледная женщина приехала почти исключительно для того, чтобы убедить папу вернуться в Ватикан в Риме. Напуганные и сбитые с толку, папские дамы перестали выглядеть дерзкими; вместо этого они поставили перед собой задачу умиротворить “Мужественную” женщину. Возглавляемые сестрой папы римского, графиней Валентинуа, они ввели религию в моду. Отказавшись от танцев, они организовали послеобеденные вечеринки для благочестивых бесед. Графиня Валентинуа также навещала Екатерину в ее собственной комнате, и через несколько дней, всякий раз, когда Екатерина отправлялась в часовню помолиться, она обнаруживала, что все придворные дамы следуют ее примеру. Раймонд, никогда не отличавшийся особой проницательностью, признается, что был тронут “такими неожиданными признаками изящества”. Он даже восхитился прекрасными платьями и вводящей в заблуждение вежливостью, казалось бы, раскаявшихся дам. Очевидно, он был немного впечатлителен, и грубое безразличие Кэтрин сильно раздражало его. Как ее духовник, он имел возможность пожуричь ее за эту невежливость — было больно видеть, как такие красивые, грациозные создания получают столь суровое отвращение. Но Екатерина в этом вопросе была непреклонна и просто ответила, что, если бы он имел хоть малейшее представление об истинных нравах этих любовниц кардиналов, он был бы не что иное, как в ужасе.

Можно предположить, что Раймонд в глубине души все еще придерживался более миролюбивого мнения; но если история, обычно приписываемая племяннице папы римского, правдива, то вскоре у него открылись глаза на истинную святость этих дам. Кэтрин впала в один из тех трансов, которые часто случались с ней во время молитвы. Элиза де Бофор Тюрэнн случайно оказалась на коленях совсем рядом, и возможность разоблачить ложную поглощенность вызвала у нее трепет пагубного удовольствия. Искушение было слишком велико, чтобы устоять, и, наклонившись, она вонзила большую булаву в палец ноги Мантеллата. Шутка, по ее мнению, вызвала к жизни не больше, чем насыщенный фейерверк. Кэтрин так и не пошевелилась, не подозревая об инциденте до самого конца. Но Раймонд понял на будущее, что некоторые знаки внимания - это всего лишь средство сокрытия.

Женщины из окружения папы были не единственными, кто не любил Екатерину. Кардиналы возражали против нее не менее решительно. Ей пришлось бороться со всем приятным в их жизни. Кроме того, те, кого победили, неумеренно хвалят, и инстинкт достижения баланса естественен и интуитивен.

Ее духовные притязания даже, насколько это касалось их, не были доказаны как подлинные. Поэтому они обратились к папе с просьбой о беседе с монахиней в Мантеллате, в ходе которой можно было бы проверить обоснованность ее теологии. Эта встреча продолжалась с полудня до позднего вечера, в течение всего этого времени они пытались сбить ее с толку. Но у Кэтрин был очень ясный и очень быстрый ум. Она знала свой предмет и, будучи умной женщиной, за несколько минут примерно поняла темперамент мужчин, с которыми имела дело. Мысль сугубо личная, но трудно не поверить, что она наслаждалась волнением. Кэтрин была скромна инстинктивно, но, должно быть, понимала, что она значительно более способная, чем большинство людей. Стивен Маркони, присутствовавший во время интервью, говорит, что двое из них почти сразу поддались соблазну и встали на сторону Кэтрин против своей собственной партии. Однако ответить на поставленные вопросы было совсем не просто. Среди прочего, они спросили, откуда она знает, что на самом деле она не находится в изощренных когтях сатаны; для Лукавого не было ничего необычного в том, чтобы превратиться в ангела света или притвориться видением самого Христа. Все это время ее необычный образ жизни мог быть просто хитроумной прелюдией к проклятию.

Кэтрин не колебалась и не раздумывала; ее спокойствие было грациозным и простым; она с исключительной готовностью выслушивала расспросы. Кардиналы сдались; когда борьба закончилась, у них даже хватило такта признать, что “они никогда не встречали души одновременно такой смиренной и такой просветленной”. Грегори, по натуре джентльмен, впоследствии извинился перед Екатериной за то, что позволил им приставать к ней, и с этого времени ее неприятности с кардиналами, во всяком случае, прекратились.

Сам Грегори с самого начала был откровенно впечатлен ею. Она покинула Авиньон еще до того, как было совершено настоящее путешествие в Рим, но ее страстные убеждения были тем огнем, от которого больше всего разгорелась совесть Грегори. Ибо его домашние пришли в отчаяние и стали болтливыми при одном только намеке. Грегори тоже родился во Франции; все его корни уходили в благодатную почву Авиньона. Но Екатерина не желала оставлять этот вопрос без внимания. В страстном и мужественном письме, начинающемся словами “Святой отец, я, твоя несчастная маленькая дочь Кэтрин”, она убеждала его, чтобы никто не мешал ему выполнять свой долг, ибо, если с ним Бог, никто не мог быть против него.

Грегори ушел, и в человеке старом, устрашающем и крайне нездоровом поступке есть элемент величия. Ибо репутация Рима, постоянно поддерживаемая его окружением, была очень похожа на репутацию логова диких зверей. Сир Эмили, провинциальный поэт, который дает рифмованное описание путешествия из Авиньона, говорит далее, что все врачи и астрологи предсказывали фатальный исход экспедиции, но добавляет, что они, по-видимому, неправильно истолковали расположение созвездий, поскольку после нескольких ужасающих штормов остаток пути они плыли по спокойному морю.

Роковая развязка лишь немного затянулась, хотя вступление в Рим оказалось триумфальным зрелищем. Улицы были устланы коврами, из каждого окна дождем лились белые цветы — никакое приветствие не могло бы выглядеть более сердечным и вдохновляющим. Однако, закончив запись, Грегори обнаружил, что он один во враждебной стране. Кэтрин писала ему ободряющие письма, призывая отбросить все страхи и энергично делать все, что в его силах. Но Грегори уже сделал все, что мог. Рим, развращенный и индоциализированный, нуждался в

более суровой натуры во главе. Он был болен и переутомлен и через четырнадцать месяцев после прибытия в Италию умер, одинокий и обескураженный, в возрасте шестидесяти семи лет.

Ему наследовал Урбан VI., крестьянин по происхождению, невысокий, приземистый, некрашенный. Выборы мгновенно стали непопулярными. Половина людей желала, чтобы папа-француз жил в Авиньоне и ставил интересы Франции превыше всего. Остальные корчились от жестокой неотесанности нового папы, ненавидя его лично. Ситуация приобрела такой накал, что наиболее сильно пострадавшие вскоре объявили его избрание незаконным и приступили к назначению в Авиньоне другого папы, известного как Климент VII.

Следовательно, было два папы - один в Риме, а другой во Франции. Оба претендовали на верховную власть, и произведенная ими неразбериха довела папство до смешного. Затем, по словам Муратори, в Церкви началась длинная череда ужасных скандалов. Результатом были непрекращающиеся частные и общественные разногласия, которые постоянно приводили к убийствам. Урбан отлучил Климента и его кардиналов от церкви. Климент, со своей стороны, отлучил Урбана и его последователей от церкви. Такие же привилегии были предоставлены разным лицам соперничающими папами, каждый из которых назначал своего епископа на каждую вакантную кафедру. Урбан был одним из кардиналов во время знаменательного пребывания Екатерины в Авиньоне, и, зная его характер, она написала ему после избрания несколько очень проникновенных советов. Необходимость вести себя благожелательно была подобна произвольному крику, вырвавшемуся у нее; снова и снова, в разных выражениях, она умоляла его “немного сдержать те слишком быстрые движения, на которые вас вдохновляет природа”.

Это красиво излагает суть дела — с врожденным тактом чувств. Урбан, на самом деле, был человеком, лишенным приятных порывов. Крайне раздражительный, он не контролировал свою речь. По отношению к кардиналам его манеры были непростительными. Он выкрикивал им слово “Дурак!” при малейшем намеке на противоречие: из-за разницы во мнениях он яростно выпаливал: “Придержите свой язык; вы не понимаете, о чем говорите”. Решив покончить с безудержной алчностью и безнравственностью тех же кардиналов, он совершил набег на их дворцы как на самый быстрый способ разоблачить их. С другой стороны, он был человеком абсолютной честности, аскетизма и мужества. Петрарка несколько раз нападал на чревоугодие высших духовных лиц. Урбан распорядился, чтобы на столе любого прелата всегда было только одно блюдо, и сам придерживался этого правила даже в случаях проявления гостеприимства. Следующий случай является хорошим примером его мужества. В результате раскола и его собственной крайней непопулярности народ Рима поднял открытое восстание. Толпа бросилась штурмовать Ватикан. При первых слухах домочадцы бежали, чтобы найти убежище в других местах. Только Урбан отказался переезжать и остался один в огромном пустом дворце. Когда толпа ворвалась в двери и направилась к папе, они обнаружили его неподвижно сидящим на троне, облаченным во все папское великолепие и торжественно держащим крест в поднятой руке. Вид его неподвижной фигуры, драматичной, отталкивающей, обличающей, сломил нервы впечатлительных римлян. Они увидели перед собой представителя Бога и, издавая бессвязные звуки, страшась вечного гнева, убежали, снова оставив застывшую фигуру, бесстрастную, как истукан, в одиночестве.

Именно с Урбаном Екатерина провела последнее волнующее интервью в своей жизни. Впечатление, оставленное ее личностью в Авиньоне, должно быть, было значительным,

поскольку при избрании Климента VII. это произошло и разделило Церковь на две неупорядоченные и сварливые фракции, человек, который не мог поддержать ни одного неблагоприятного предложения, фактически послал за Екатериной, чтобы она приехала и помогла ему сделать народ Рима, по крайней мере, лояльным к истинному Главе Церкви. Кэтрин, хотя и была к этому времени очень слаба телом, немедленно отправилась в путь, взяв с собой двадцать человек, которые могли помочь, но по какой-то неизвестной причине оставила Стивена Маркони позади. Затем, когда она добралась до Рима и оправилась от утомительного путешествия, Урбан настоял, чтобы она выступила с речью о расколе перед всем собранием кардиналов.

Она могла бы выглядеть лишь довольно бледным и ничтожным объектом на фоне кружев, шелка и широты упитанных кардиналов. К этому времени от нее не осталось ничего, кроме узкой полоски черных драпировок и худого белого лица. Но в тот момент, когда она заговорила, в ее голосе зазвучала прежняя теплота, и монахиня покраснела сильнее, чем все алое и пурпурное, что было на ней. Кэтрин никогда не теряла головы и мужества. Она была там для того, чтобы пробудить вялую мораль кардиналов, но она прекрасно понимала, что Урбан почти так же сильно нуждается в улучшении, как и они. С восхитительной ясностью она подчеркнула тот факт, что единственное оружие, подходящее для папы римского, - это терпение и милосердие. Урбан не владел ни тем, ни другим, но отвага и красноречие этой женщины вызвали у некоторых ответное чувство, и он тут же похвалил ее в щедром изобилии фраз. К сожалению, он больше ничего не предпринял, и на следующее Рождество Кэтрин прислала ему еще одно ласковое напоминание — напоминание такого рода, до которого могла додуматься только утонченная женщина с очаровательными манерами в личной жизни. Она сохранила несколько апельсинов, посыпала их сахаром и, позолотив, отправила папе римскому. К подарку прилагалась записка, в которой объяснялось, что при консервировании была вытянута вся кислинка апельсина и что, подобно апельсину, плод души, будучи приготовленным, подслащенным и позолоченным снаружи золотом нежности, преодолеет все пагубные последствия позднего раскола, или, как она выразилась, тщательно подобрав неопасное слово, “позднего несчастья”.

Урбан ранее уполномочил ее пригласить в Рим от его имени любого, кто, по ее мнению, мог бы быть полезен разделенной Церкви в трудную минуту. Среди них были письма Екатерины Вильгельму Английскому и Антонию Ниццкому, двум друзьям, которые жили в приятном монастыре в Леччето, в нескольких милях от Сиены. Завязалась необычная переписка, поскольку письмо Кэтрин, к сожалению, поколебало привычный уклад двух стариков. И все же само письмо было на редкость хорошим. В нем она прямо заявляет, что Церковь находилась в такой крайней нужде, что пришло время отказаться от всех вопросов мира и уединения, чтобы помочь ей.

Было мало персонажей, которых Кэтрин не могла понять; конечно, она прекрасно понимала двух своих монахов. Ибо мир и тишина их загородного убежища, где они сидели и беседовали в тенистом лесу, сделали их совершенно дряблыми духом. Мысль о переменах и суете взволновала их с головы до ног. Кэтрин пришлось написать снова, и на этот раз она написала с некоторой прямоотой, что это был кризис, когда характер подвергся заметному испытанию, и когда не было сомнений в том, кто на самом деле был истинным слугой Божьим, а кто просто искал образ жизни, подходящий лично им. Эти последние, по ее словам, похоже, думали, что Бог обитает в одном определенном месте и не может быть найден ни в каком другом. Это письмо, должно быть, сильно расстроило двух старых джентльменов. Брат Антоний наконец

приехал в Рим, и хотя неясно, сопровождал ли его брат Уильям или нет, вполне вероятно, что, когда один сдался, сдались оба.

Кэтрин очень устала в Риме; это истощило остатки ее сил. Тем не менее оттуда она отправила Стивену письмо, которое по-прежнему было почти игривым. Именно в этом письме проявилась победоносная раздражительность по поводу слухов об обращении Стефана. То, как мало она могла обойтись без него, снова проявилось в еще более позднем послании, когда она написала ему, “Потерпи меня”. В то время она была больна, страдала от боли, до предела устав от восстаний римлян против папы. Раскол быстро распространялся. Королева Неаполя Джоанна, которой Екатерина писала, к сожалению, суровые письма, обратила свое влияние на сторону Климента. Урбан почувствовал себя настолько неуверенно, что поговаривали об отправке Екатерины — уже почти мертвой от напряжения — в Париж в качестве единственного посла, способного привлечь французского короля на сторону истинного понтифика. Вместо этого она написала, и пока ее письмо было в пути, Карл V. присоединился к антипапской партии.

Когда Рим, по крайней мере, сравнительно примирился с Урбаном, Екатерина вернулась в Сиену. Ей было тридцать три, и сияние, которое магнетизировало мужчин, заставляя спокойно смотреть даже на смерть, если она была только с ними, в значительной степени покинуло ее. Тем не менее, ее переписка показывает, что она никогда не теряла своего тонкого понимания характера. Некоторые из ее писем до сих пор являются шедеврами практического понимания.

Еще недолгое время она спокойно жила с мужчинами и женщинами, которые любили ее и заботились о ней, хотя, если бы она хоть на секунду осознала, насколько тонко ей потакают, паника ужаса поколебала бы ее стойкий дух. Физические силы, однако, были почти исчерпаны. Она сильно страдала и с трогательной глупостью — трогательной из-за присутствия в ней такого количества мудрости — снова и снова повторяла, что Бог позволил демонам причинять ей страдания и, как следствие, напряг ее слабеющие силы, чтобы бороться с их мучениями. То, что ее убивала естественная болезнь, не казалось правдоподобным воображению. Тем не менее, за исключением невыносимой боли, выражение ее лица оставалось трогательно радостным. Когда она достаточно поправилась, они вынесли ее в соседний сад, предоставленный ей в пользование. Кэтрин никогда, после первых излишеств своего детства, не отказывалась от удовольствий на свежем воздухе. Она умерла в 1380 году, окруженная чувством глубокого сожаления и нежности. На смертном одре она необычно призналась, что в первые дни своей духовной карьеры тосковала по одиночеству, но Бог не пожелал этого. Каждое существо обладало клеткой в своей собственной душе, где дух мог жить так же уединенно и так же замкнуто в мире, как и вне его.

Стивен Маркони был с ней, когда она умирала, и незадолго до конца она умоляла его вступить в орден картузианцев. Нери она умоляла стать отшельницей. На мгновение кажется, что этому запрету не хватает ее обычной интуиции. Но, вероятно, это было результатом очень глубокого понимания. Нервы Нери, возможно, были более спокойными, когда на них не играли другие люди.

До последнего она молилась, мирно скончавшись ближе к “часу секса”, и однажды воскресным вечером, по словам Стивена, тело до самого ее погребения сохраняло удивительную красоту и благоухание.

Ее последняя просьба к последнему была благоговейно выполнена, и в будущем он продолжал, с милостью природы, которая сделала его таким привлекательным, самое милое из занятий своего покойного друга — он прославился как целитель вражды. Почитание памяти Кэтрин придавало его дням сентиментальную радость. Он вспоминал о ней с болезненным восторгом верного любовника. Ничто в их общении не было слишком тривиальным для живого воспоминания. Будучи избранным отцом-настоятелем своего монастыря, он “неизменно добавлял деликатесную фасоль к блюду своей монахини в день Пасхи”. Он сделал это потому, что однажды на Пасху они с Кэтрин ужинали фасолью, поскольку в доме ничего другого не было, и, как выразился брат Бартоломью, “воспоминание об этом ужине прочно въелось в его позвоночник”. Будучи пожилым человеком, Стивен все еще дорожил мельчайшими подробностями ее жизни, и однажды, при внезапном воспоминании о каком-то маленьком инциденте, свидетельствующем о ее любящей доброте, он внезапно разрыдался, казалось, что его сердце вот-вот разорвется. Братьям пришлось осторожно отвести его на скамейку под открытым небом, где освежающий ветер привел его в чувство.

Нери тоже поступал так, как она хотела. Но его жизнь отшельника не мешала его литературным трудам и ни в коем случае не оставляла его без общества. Однажды он, кажется, на какое-то время сошел с ума. Стивен упоминает в одном письме, что ему сказали, что он был *отчужден*, но, поскольку он получил от него весточку, очевидно, что он выздоровел.

Отчет о его смерти, написанный монахом некоему другу покойного, серу Джакомо, и приведенный в английской версии в книге мисс Дрэйн “Жизнь Кэтрин”, достаточно необычен, чтобы его можно было процитировать. На долю немногих людей выпадает записывать свои смерти в таком избытке фраз.

“Дорогой Отец Христа,

“Моя небрежность — мне не нужно больше ничего говорить, — но все же с грустью и прискорбием я пишу вам, как наш Отец, и наше утешение, и наша помощь, и наш совет, и наша поддержка, и наше подкрепление, и наш проводник, и наш учитель, и наш восприемник, и наш составитель, и наш писатель, и наш посетитель, и тот, кто думал о нас, и наша радость, и наше единственное благо, и наш развлекатель; и его кротость, и его святая жизнь, и его святая беседа, и его святые учения, и его святые дела, и его святые слова, и его святые исследования. Увы, несчастные, увы, бедные негодяи, увы, сироты, куда нам идти, к кому прибегнуть? Увы, хорошо нам горевать, поскольку все наше добро ушло от нас! Я больше ничего не скажу, ибо я недостойн помнить его, но я умоляю вас, поскольку на то воля Божья, вы не позволите этим новостям ввести вас в заблуждение; знайте тогда, увы, я не знаю, как я могу сказать вам — увы, мой дорогой сир Джакомо, увы, мой Отец и мой брат, я не знаю, что делать, ибо я потерял все, что мне было дорого. Я не вижу тебя и не знаю, как ты поживаешь. Знайте же, что наша любовь и наш отец — увы, увы, Нери ди Ландоччо, увы, заболел 8 марта, в понедельник вечером, на рассвете, из-за сильной простуды и усиливающегося кашля, он не мог с этим справиться, увы. Он ушел из жизни, исповедавшись и со всеми таинствами Святой Церкви, и 12 марта был похоронен братьями Елеонской горы, за Воротами Туфи, и скончался утром в Авроре на рассвете”.

По словам автора, Нери умер только через несколько часов после того, как его похоронили в Porta Tufi!

Влияние Кэтрин сохранилось почти во всех тех, кто когда-то откликнулся на нее. Но качество, которое остается вдохновляющим и по сей день, заключалось в ее неустанном напоминании о том, что нельзя быть хорошим, не будучи счастливым. Хотя из другого источника, казалось, от нее исходил дух Возрождения — дух, который так усердно трудился в мире, богатом всевозможными вещами, чтобы радоваться каждой минуте. В случае Кэтрин это было результатом не только осознания присущей жизни чудесности, но и подсознательного знания того, что героизм - это всегда улыбка; что принятие, которое не является абсолютным, сдержанным и выражается от всего сердца, в конце концов, является лишь полупринятием.

Кроме того, Кэтрин обладала одной высшей чертой характера, которую ни одна эпоха не может сделать менее превосходной или менее вдохновляющей. Она была натурой, пропитанной любящей добротой. Сознательно и неосознанно любовь струилась из нее, проникая и объединяя каждую душу, с которой она соприкасалась. Во все времена мир ни в чем так не нуждается, как в любящих святых, — во все времена ничто так не выводит создания из заблуждения, несговорчивости и подлого эгоизма, как сияющее величие сердца. И, наконец, ничто так ярко не освещает напряженную и животворящую красоту жизни и человеческих усилий, как люди, которым, подобно Кэтрин, стоит только войти в комнату, и они — довольные, пылающие, сострадательные — мгновенно превращают ее атмосферу в восхитительную, обновляющую доброту.

БЕАТРИЧЕ Д'Эсте

1475-1497

БЕАТРИЧЕ Д'Эсте никогда не могла быть красивой женщиной, хотя большинство современных писателей утверждали, что она была красивой. Она также не была особенно хороша; тем не менее, очень немногие женщины эпохи Возрождения обладают такой интимной привлекательностью. Ничто в ее жизни не стало старомодным. Она не наводит на размышления, характерные только для того времени, в которое она жила. Драма ее домашнего существования настолько знакома и современна, что могла бы стать тайной историей половины очаровательных женщин из числа ваших знакомых.

В то же время она была ярко типична для эпохи Возрождения. Никто так полно не выразил того, что могли сделать решительные поиски красоты и радости. И, насколько она могла судить, это могло сделать все, что угодно, кроме как сделать женщину счастливой. На самом деле, ее жизнь - один из самых захватывающих примеров трагедии, которая подстерегает большинство женщин после того, как радость молодости проходит.

Беатриче родилась в Ферраре 24 июня 1475 года и была младшей сестрой великой Изабеллы Д'Эсте, которая стала одним из главных знатоков эпохи Возрождения. Быть более некрасивой сестрой красавицы всегда сопряжено с некоторой болью. В те дни Триумф также был уделом не по годам развитых. Изабелла воплощала саму не по годам развитую личность. Хотя она была всего на год старше Беатриче, она показала себя несравненно более грациозной, более восприимчивой, более преждевременной из них двоих. В шесть лет о ней заговорили в придворном кругу Феррарезе. Как и положено будущей женщине, она уже проявляла признаки

культуры, такта, обаяния. Хорошенькое маленькое вундеркинд, с волосами, подобными тонкому шелку, ее руки постоянно просили; и ни один посетитель никогда не появлялся при дворе, но за Изабеллой послали, чтобы она продемонстрировала свои преждевременные достижения.

О Беатриче мало что сказано. Вторая девочка была настолько откровенно ненужной, что при ее рождении все публичные торжества были опущены. Детство она провела со своим дедушкой, королем Неаполя, и когда вернулась кругленьким довольным ребенком с пухлым личиком и черными волосами, она служила главным образом фоном для Изабеллы, которая была похожа на какой-то прекрасный цветок со своими светлыми мягкими волосами и совершенной элегантностью поведения. В Ферраре образование стало хобби. Сын великого Гуарино, который вместе с Витторино да Фельтре практически заложил основы современного школьного образования, осуществлял главный контроль за их образованием. Возможно, он был неплохим, если не считать его избытка. Эти двое крошек были на каких-то уроках с того момента, как встали, и до того, как легли спать. К счастью, эпоха Возрождения была целиком посвящена открытому воздуху, и большая часть их образования проходила в саду загородной виллы, принадлежащей Д'Эсте. Сонеты Петрарки относились к числу самых легких произведений, которые им позволяла литература, и многие из них были положены на музыку специально для их тонких, неуместных голосов. Гуарино был их наставником по Цицерону, Вергилию, римской и греческой истории; другие учителя обучали их танцам, манерам, музыке, композиции и началам французского. Говорят, Изабелла действительно говорила по-латыни так же легко, как на своем родном языке.

Несмотря на некоторую суровость, Леонора была способной и добросовестной женщиной. Большинство качеств, которые Беатрис могла бы унаследовать от своей матери, были бы очень хороши для темперамента — присутствие ума, смелость, интеллект, решительность. Беззаботность девочки она, вероятно, унаследовала от своего дяди Борсо, брата и предшественника Эрколе, чье толстое и улыбающееся лицо на картине Корсы олицетворяет саму жестокую веселость. Эрколе не отличался жизнерадостностью, и главными чертами характера, которые он передал своим дочерям, были сильные художественные и литературные пристрастия, дипломатический дар и, возможно, некоторая гибкость в вопросах совести.

Культура была пронизана атмосферой феррарского двора. И хотя Леонора следила за тем, чтобы детей строго обучали религиозным обрядам, по сути, это была жизнь, причем полноценная и всепоглощающая, к которой их готовили. В шесть лет Изабелла уже была помолвлена с будущим герцогом Мантуанским. Некоторое время спустя Людовико Сфорца из Милана, дядя и регент молодого герцога Джангалеаццо, написал и сделал ей предложение. Он был не из тех, кому легко отказать. Все знали, что настоящий герцог был глуп почти до умственной отсталости. Иль Моро, как звали Людовико, владел властью в Милане, и политически союз с Миланом был бы полезен для Феррары. Эрколе ответил на просьбу, сказав, что его старшая дочь уже обещана Мантуе, но что у него есть другая дочь на год младше, и если король Неаполя, удочеривший ее, даст свое согласие, Людовико может получить ее вместо него. Политическая ценность брака осталась прежней, и Людовико без возражений принял маленькую импровизированную леди. Таким образом, в девять лет Беатриче, заменив свою более элегантную сестру, обручилась с двадцатидевятилетним мужчиной. В то время она все еще жила со своим дедушкой в Неаполе. Но когда в следующем году она вернулась в Феррару, чтобы учиться у Изабеллы, она была публично признана будущей женой Людовико и известна как герцогиня Бари, титул которой перейдет к ней после замужества.

Именно после этой помолвки Беатрис остро осознала разницу в образах жизни простых и чарующих людей. Молодой маркиз Мантуанский вскоре стал пылким любовником своей золотоволосой дамы. Он писал ей, посылал подарки; все годы их помолвки между ними продолжалась небольшая, но симпатичная любовная связь. И когда в положенный срок они поженились, красивый жених проявил все свое рвение. Людовико, с другой стороны, не обратил никакого внимания на ребячливую Беатриче; не было ни обмена обаятельными любезностями, ни подарков, ни писем. Дважды, когда вопрос о браке был окончательно решен, Людовико откладывал его; и во всяком случае, во второй раз ни одна девушка не смогла избежать укола уязвленного тщеславия. Все стремились жениться на Изабелле. Беатриче также, по понятиям ее времени, была взрослой и слишком сообразительной, чтобы не понимать сплетен, последовавших за вторым уходом Людовико. Без сомнения, она была нежеланна. Сердце ее будущего мужа уже было заполнено. В деле фигурировала другая женщина, и женщина, которую любили с такой силой, что у Иль Моро буквально не хватило смелости жениться на другой даме. По прибытии послов, просивших о повторной отсрочке, придворный агент написал, что все были раздражены, а герцог Феррарский чрезвычайно разгневан.

Это было в апреле 1495 года, и в течение нескольких месяцев Беатриче тихо жила в замке Кастелло в Ферраре. Чтобы усугубить эту скуку, не только Изабелла, но и ее сводная сестра Лукреция теперь были замужем. Среди придворных открыто поговаривали, что брак с Людовико, вероятно, вообще не состоится. Беатрис вернулась к урокам музыки — она всю свою жизнь была большой любительницей музыки — и к рукоделию в саду. Но она, вероятно, чувствовала себя отчаянно подавленной и без надежды. Благодарность за саму жизнь не может существовать в молодости. В пятнадцать лет невозможно благодарить Бога только за то, что впереди. Скорее всего, она также ненавидела Людовико. Ни одна девушка с сильным характером не смогла бы поступить иначе, а у Беатрис было больше духа, чем у большинства.

Затем, внезапно, в августе, из Милана прибыл еще один посол, и уже тогда надежды снова забрезжили. На этот раз посол прибыл с подарком от жениха своей невесте. Оно было изысканным — ожерелье из жемчуга, выполненного в виде цветов, с подвеской в форме груши из рубинов, жемчуга и бриллиантов. Посол также приехал, чтобы назначить день свадьбы. Людовико наконец решился на разрыв со своей любовницей Чечилией Галлерани, редкой женщиной с прекрасными манерами, которую сравнивали с Изабеллой Д'Эсте и Витторией Колонна как одну из самых культурных женщин эпохи Возрождения.

Теперь, наконец, Беатрис бесцеремонно превратилась в важную персону. Тема Чечилии Галлерани была отброшена, как горящий уголек, и внешне все стало гладким, как атлас. Денег было больше, чем при мантуанском браке, и, следовательно, на приданое Беатрис не жалели средств. Только Леонора все еще немного беспокоилась. Людовико происходил из дурного рода — единственным в семье, проявившим прекрасные качества, был знаменитый Франческо Сфорца, основатель династии.

Что касается отца нынешнего герцога и брата Людовико, Галеаццо Марии, то он был исчадием ада, само здравомыслие которого вызывало сомнения. Действительно, способности самого Людовико были несомненны. Мастерство, с которым он сумел выбраться из ссылки и стать регентом, не подлежало сомнению. Более того, хотя номинально он был всего лишь регентом, он уже начал вбивать тонкий клин узурпации. Настоящий герцог был достаточно взрослым, чтобы управлять своим государством, и недавно женился на Изабелле, дочери неаполитанского

короля. Несмотря на это, регентство продолжало скорее усиливать, чем ослаблять хватку за дела Северной Италии. Тем временем приготовления к свадьбе шли быстро и роскошно, и как можно скорее, хотя была тогда глубокая зима, Беатриче и ее свита отправились на свадьбу. В Павии их ждал Людовико, и как только Беатриче помогли сесть на лошадь в великолепной для этого случая попоне, они медленно поехали бок о бок от кромки воды — она приплыла на лодке вверх по реке По — по мосту, перекинутому через реку Тичино, и через ворота замка Павии.



Алинари

МОСТ В ПАВИИ

Было бы интересно узнать, что было на уме у обоих. В случае с Людовико одно предположение имеет такую же вероятность, как и другое. Он был человеком, очень искушенным в женщинах, и для человека, чьи любовницы всегда были красивы и интересны, Беатрис, на первый взгляд, могла предложить очень мало привлекательного. У нее были не те черты лица, чтобы обладать красотой высшего качества. В то же время ей компенсировали почти все мелкие соблазны. От нее исходил аромат гладкой и нежной свежести юности, и, подобно Изабелле, она была чрезвычайно грациозна телом. Но главная привлекательность ее лица проистекала из его странности и предполагаемого внутреннего плута. Согласно строгим канонам, она была некрасивой, но ее некрасивость была настолько близка к привлекательности, что зачастую переходила всякие границы.

Первое впечатление, производимое ее портретом в Алтаре, предположительно работы Лемалья, разочаровывает. От ее личности ожидается чего—то другого - немного более утонченного, немного более распутного и немного более бесспорно соблазнительного. Но легкое очарование приходит вместе со знакомством. Своенравие и интеллект видны на лице; дар юмора ясен как день. Выражение ее лица излучает смесь дерзости и мудрости. В определенной одежде и в определенном настроении она, должно быть, выглядела очаровательно, особенно до того, как была по-настоящему одета, когда ее локоны ниспадали на плечи.

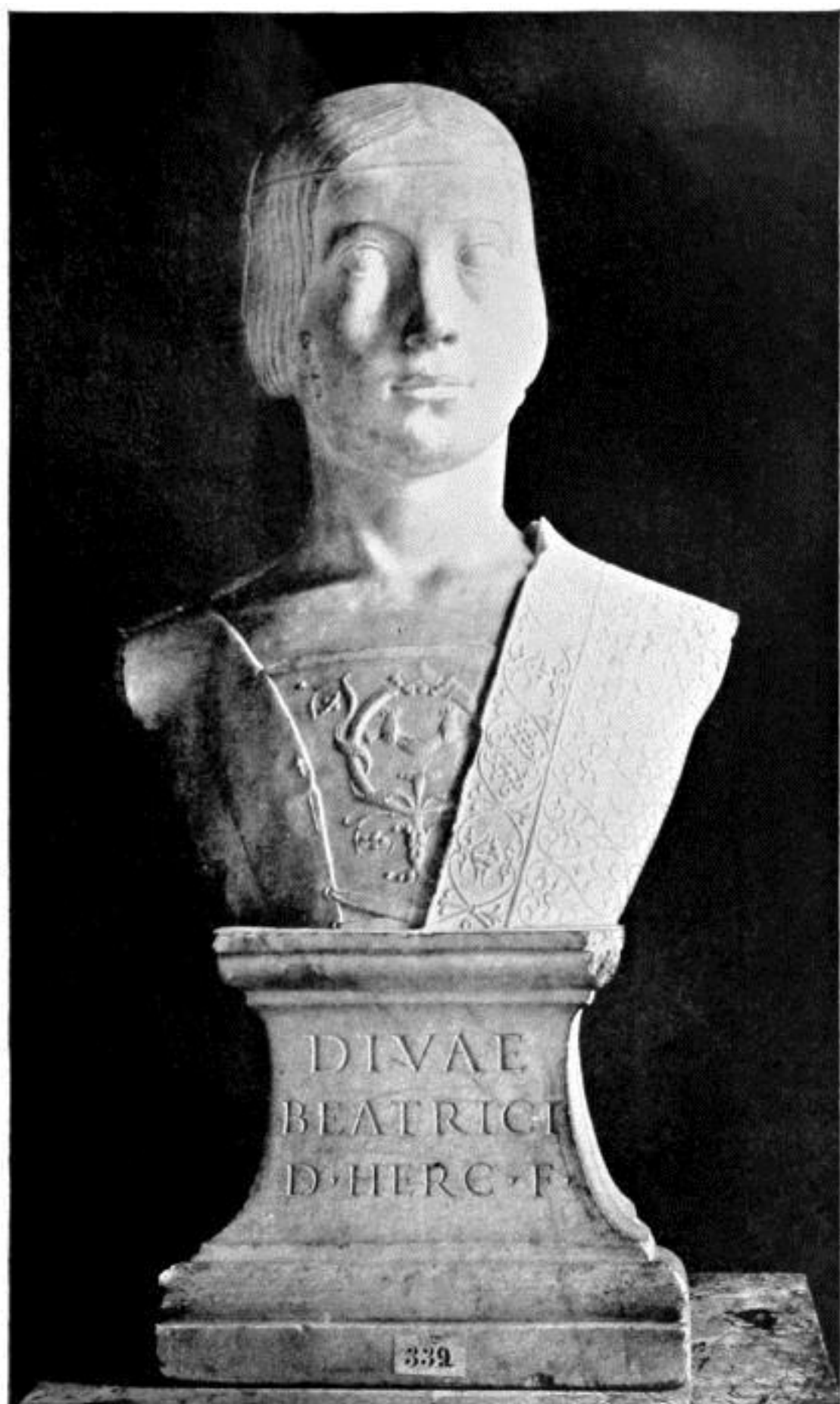
То, что Беатрис думала о Людовико, более легко поддается сомнению. Мужчина был красив и обладал всеми признаками силы характера. Его профиль имел слишком прямую линию, но в целом черты его лица были впечатляющими и властными. Беатрис было пятнадцать, и, как некрасивая сестра Изабеллы, она еще никогда не поддавалась излишней лести. Людовико действительно добрался до ее детского сердца, имея неравные преимущества; столкнувшись с этим обходительным и достойным человеком, воображению девочки было чем питаться.

Они поженились на следующее утро, и несколько дней спустя Беатриче официально въехала в Милан — Людовико, Джангалеаццо, настоящий герцог, его жена Изабелла и все важные миланские персоны встречали ее у ворот. Затем они с Людовико проехали бок о бок в процессии по городу, лошади были украшены, а улицы заполнены людьми, которые приветствовали их, когда они проезжали.

Но по-настоящему интересным событием того дня была встреча двух девушек, правящей герцогини и герцогини-регентши. Ситуация подтолкнула их к антагонизму, к низкому и возбужденному соперничеству. Позиция Изабеллы была позицией более легкой праведности, Беатриче — позицией более колоссальных искушений. Более того, все в будущем должно было привести их к несправедливости. Перед женой никчемного герцога никто не пресмыкался. Весь Милан баловал и льстил жене регента, которой принадлежала власть, и предполагал еще большую власть в будущем. Чтобы быть кротким и второстепенным, требовался темперамент большой духовной силы. Беатриче происходила из светской семьи, и причины для того, чтобы не сдерживать честолюбие, становились все более надуманными. Джангалеаццо, как глава государства, был слишком явно неспособен. Моро выполнял всю работу, нес всю ответственность, а при необходимости и все проклятия. Почему праздный, туповатый мальчишка, который ничего не делал, должен пользоваться преимуществом общественного превосходства? Почему Беатрис и ее муж должны смиренно следовать за этими двумя, чья важность была подобна воздушному шару, надутому специально для этого случая?

Корио говорит, что с первых дней своего приезда в Милан Беатриче была недовольна тем, что уступила место Изабелле. Но Корио, писавший много лет спустя после смерти Беатриче и Людовико, был склонен сделать из них самое худшее. И чтобы опровергнуть его, есть много переписки, которая показывает, что поначалу девушки были рады общаться друг с другом. Некоторые авторы, описывающие борьбу между Беатриче и Изабеллой, также настаивают на том, что именно Беатриче подтолкнула Людовико к планам узурпации власти. Это одно из утверждений, которые выдвигаются в пылу пропаганды. Людовико зарекомендовал себя как опасная личность за много лет до того, как женился на второй дочери Эрколе. Посол Феррарезе написал о нем задолго до его женитьбы, что он был великим человеком, который намеревался впоследствии добиться всеобщего признания в качестве такового.

За день до ее официального въезда в Милан брат Беатриче Альфонсо женился на нежной Анне, которой после ее смерти должна была наследовать загадочная Лукреция Борджиа. Последовала неделя всеобщего ликования, после чего Леонора вернулась в Феррару, а Беатриче начала привычную жизнь. Но отчеты Людовико, отправленные вскоре после этого, были приятным чтением для отца девочки.



БЮСТ БЕАТРИЧЕ Д'Эсте В ЛУВРЕ

Представитель Феррарезе при миланском дворе написал, что Людовико непрестанно восхвалял свою жену, а несколько дней спустя добавил, что он переполнен восхищением как своей женой, так и свояченицей и что он постоянно повторяет, какое огромное удовольствие доставляет ему их общество. Затем, спустя некоторое время после того, как ушли последние люди Беатриче, Тротти еще раз повторил, что Людовико, по-видимому, не думал ни о чем, кроме как о том, как очаровать и развлечь свою жену, и что каждый день он повторял, как сильно любит ее.

Не только Тротти, но и Палиссена Д'Эсте, двоюродная сестра и одна из старших фрейлин Беатриче, написала восторженные отзывы о миланском браке в начале мероприятия. Письмо Палиссены было адресовано Изабелле, а не родителям Беатриче. Она писала, что муж постоянно заботился о Беатриче и что он уделял ей все возможное нежное внимание. По ее рассказам, этих двоих было восхитительно видеть вместе, причем мужчине, очевидно, доставляло такое же удовольствие баловать хорошенькое дитя, как и ребенку быть избалованным им. И поскольку Беатрис была самой некрасивой представительницей семейства с неопределенными перспективами на будущую красоту, автор упоминает, с очевидным чувством, что сообщает хорошие новости, что в новом климате девушка стала не только намного сильнее, но и намного красивее.

Беатриче, конечно, была очень счастлива в то время — ничто в жизни не сравнится с первыми днями первой любовной связи, — и на Людовико как на любовнике уже настояли. Муратори, пишущий о ней после того, как прошла застенчивость, вызванная ее приездом, — поначалу она упоминается как робкая, — описывает ее как молодую и всегда занятую танцами, пением или какими-то развлечениями. Муратори также затрагивает одну из слабостей Беатриче. Поистине, никогда еще женщина так разумно не любила одеваться. Она приехала в Милан ребенком, но уже через год знала свое женское дело, как азбуку, и из этого следует, что одним из серьезных пунктов является понимание того, что женщину чаще всего привлекает ее одежда. В одежде у Беатрис было одно странное пристрастие — она любила ленты. Ей нравилось подвязывать ими рукава; на самом деле, они нравились ей почти везде. На алтарном портрете ее платье чрезвычайно уродливое, но по всему нему повязаны маленькие, выглядящие излишне ленточки. Она также определенно стала экстравагантной. Однажды, когда ее мать осматривала свой загородный дом, ей показали гардероб герцогини Бари. Там было восемьдесят четыре платья, пелерины и накидки, не считая многих других, оставшихся в Милане. Нет сомнений, что восемьдесят четыре платья и накидки были слишком большим количеством для одного периода. Беатриче разбогатела настолько, что требовалось развивать более утонченные качества характера. Желать чего-то, пусть даже мимоходом, значило обладать этим.

Однако в первые месяцы после своего приезда в Милан она была ребенком, и ее слишком баловали, чтобы осознать нечто большее, чем ограниченную ответственность. Ее жизнь в течение некоторого времени была не более чем прекрасным примером подкупающей свежести, присущей ренессансной концепции счастья. Удовольствия на свежем воздухе были значительной частью ее наслаждения. У каждого достаточно богатого мужчины была загородная резиденция с тенистыми местами и бассейнами с водой. Беатрис постоянно выезжала за город на пикники. Некий мессер Галеаццо Сансеверино, который позже женился

на внебрачной дочери Людовико Беатриче, написал описание одного из них. Он сказал — это было в письме к Изабелле, — что они выехали рано утром и по дороге — он, Беатрис и еще одна дама - пели отрывки песен в аранжировке для трех голосов. Прибыв к месту назначения — загородному дому Людовико в Куссаго, — они немедленно начали ловить рыбу в реке и наловили столько рыбы, что вынуждены были выбросить часть обратно в воду. Часть остального была приготовлена для их полуденной трапезы, а после этого, по словам автора, для улучшения пищеварения они энергично играли в мяч. Покончив с этим, они совершили экскурсию по прекрасному дворцу, а после этого снова отправились на рыбалку. Этого занятия вполне могло хватить на один день, но когда рыбалка наскучила, оседлали лошадей, и они сначала запустили соколов на берегу реки, а затем начали охоту на оленей в поместье герцога. Только через час после наступления темноты неутомимая и веселая компания вернулась в Милан.

Когда Рабле писал свое описание дня из жизни Пантагрюэля, он вполне мог вспомнить эту приятную прогулку.

Людовико не принимал участия в этих прогулках; государственные дела, по его словам, поглощали его время. Чтобы сразу заподозрить об этих государственных делах, потребовался бы острый ум, обладающий светскими познаниями. Но вскоре, поскольку все, кроме невесты, с самого начала знали или догадывались, чем на самом деле занимается герцог, начали распространяться комментарии. В конце концов Беатрис поняла правду. Нет писем, свидетельствующих о том, как она впервые осознала тот факт, что Людовико все еще проявляет нежность к другой женщине; но она наконец узнала, что Чечилия Галлерани не только вскоре ожидает заключения, но и все еще находится в апартаментах в одном конце Кастелло. Последнего факта самого по себе, должно быть, было достаточно, чтобы быть невыносимым. Независимо от того, устроила Беатрис сцену или нет, она могла только чувствовать, что сгорает от гнева, а также от сердечной боли. Кризис стал неизбежным. Конкретные мотивы были тривиальными, но тривиальность происходила тогда, когда для нее все было бы слишком. Людовико подарил своей жене платье, расшитое золотом. В тот момент, когда она надела его, на лицах ее домочадцев промелькнули любопытные выражения — Сесилия Галлерани разгуливала в его двойнике. Напрашивался только один вывод. Беатрис вскоре поняла это и к этому времени перенесла все, на что была способна ее не по годам закаленная выносливость. То, что последовало за этим, кратко изложено в письме Тротти герцогу Феррарскому - письме, которое он умоляет герцога немедленно сжечь. Тротти говорит об этом одеянии как о жилете, показывая, что это была всего лишь часть платья, и он говорит, что мадонна Беатриче отказалась бы снова надеть свое, если бы мадонне Сесилии разрешили появиться в другом подобном. Такая позиция была смелой для пятнадцатилетнего ребенка, и Беатрис, должно быть, сделала это с самой безудержной отвагой. Ибо сразу после этого Людовико сам отправился побеседовать с Тротти и таким образом удостовериться, что в Феррару отправится нечто более успокаивающее, чем простое изложение жалобы Беатриче. Он дал реальное обещание, что связь должна завершиться. Он либо найдет для леди мужа, либо отправит ее в женский монастырь.

Беатрис победила, и действительно, выиграла сторицей. Политическая целесообразность была на ее стороне, но собственная привлекательность девушки должна была иметь какое-то значение в этом вопросе. Людовико был одним из самых хитрых людей Италии, но в этом случае он сделал именно то, что обещал. Как только Сесилия оправилась после рождения сына, были рассмотрены две альтернативы. В ее вкусах не было монастырей, и она вышла замуж за графа

Людовико Бергамини. На этом, по мнению Моро, эпизод закончился. Беатрис, вероятно, предпочла бы монастырь, поскольку, как бы то ни было, Сесилия ни в коем случае не была изолирована от общества. Она продолжала принимать всех знатных мужчин этой части света в прекрасном дворце недалеко от Милана, который Людовико подарил ей в наследство от своего сына, и на всех придворных приемах появлялась как обычно.

Триумф Беатриче, возможно, отчасти пришелся ей по душе благодаря ее мужеству. Это было качество, которым Людовико восхищался превыше всего, хотя на его собственное полагаться было нельзя. Комминес говорит о нем: “Людовико был очень мудрым, но чрезвычайно робким и очень скользким, когда боялся. Я говорю как человек, хорошо знакомый с ним и уладивший с ним множество дипломатических дел”.

До некоторых персонажей итальянского Возрождения добраться труднее, чем до Людовико. Как и у Цезаря Борджиа, в его крови было много от великолепного авантюриста, и хотя он никогда не был такой фигурой в Италии, как Цезарь Борджиа, он был во многих отношениях более интересным из них двоих. Цезаре Борджиа легко затмевает его как интригана, как бойца, как человека, которого ничто не останавливало и ничто не поколебало; но Цезаре Борджиа был известен как человек, больше стремившийся завоевывать города, чем управлять ими, а Моро был прежде всего замечателен во главе государства. Его политика была чрезмерно хитрой, но как правитель Милана он последовательно стремился к совершенствованию и большей человечности, чем это было принято. По личному обаянию он, должно быть, был близок к Борджиа. Всем, кто близко знал его, он нравился. В нем чувствовалось достоинство осанки и красноречивая манера речи. Леонардо да Винчи нельзя было назвать человеком, которого легко удовлетворить, но он довольствовался шестнадцатью годами под покровительством Людовико. Амбиции Людовико не двигали им в том же бешеном темпе, что у другого, и он работал на благо города и будущего вместе со своими собственными глубокими замыслами и в промежутке между ними. Современный писатель Каньола говорит о нем, что он в необычайной степени улучшил город Милан, расширив и украсив улицы и площади, а также возведя множество прекрасных зданий, фасады которых были украшены фресками. Он проделал то же самое в Павии, пока оба города, ранее отвратительные и грязные, не стали едва узнаваемы. Корио приводит дополнительные доказательства в свою пользу, говоря, что каждый культурный и образованный человек, где бы его ни можно было найти, был привлечен Людовико в Милан, и в нескольких цветистых фразах пишет, что все самое сладостное в музыке и самое прекрасное в искусстве и литературе можно было найти при дворе Иль Моро.

Это, выражаясь более простым языком, было почти правдой. У Людовико была страсть составлять компанию великим людям. Его библиотека тоже была знаменитой. Он собирал книги во Франции, Италии и Германии. Он печатал, копировал, иллюстрировал рукописи везде, где мог их найти. Кроме того, в связи с этой библиотекой проявляется приятная черта его характера. Он разрешал ученым брать его книги для учебы и даже предоставлял им возможность пользоваться своей библиотекой. Университеты Милана и Павии были спасены его энергией, а его отношение к образованию всегда было щедрым и безличным.

Натура Беатриче была очень созвучна мужчине с таким темпераментом, и после ухода Сесилии Галлерани для нее наступило по-настоящему хорошее время в ее жизни. На самом деле кажется более чем вероятным, что Людовико уже успел полюбить круглолицую девушку с дерзким выражением лица и неиссякаемой жизнерадостностью. Некоторые из ее прежних

выходок были похожи на то, как школьник возвращается домой на каникулы, но Людовико неизменно вспоминал о них с оттенком гордости. Однажды он написал Изабелле, что его жена, герцогиня Миланская, и их свита по наущению Беатриче переоделись в турецкие костюмы. Эти платья, также под безудержным влиянием Беатриче, были закончены за одну ночь. Сама она усердно шила вместе с остальными, и Людовико написал, что после того, как герцогиня выразила удивление ее энергией, ответил, что она ничего не может сделать, не вкладывая в это всю свою душу. Это было похоже на Беатриче; у нее не было порывов, которые не были бы пылкими, потрясающими, от всего сердца. Некоторые из ее глупостей в то время, тем не менее, были не столь приятны, хотя Людовико, похоже, не осознавал их озорства. По другому поводу он писал, и по-прежнему с гордостью, что одним из ее развлечений в деревне были скачки с дамами из ее свиты, когда она во весь опор скакала позади некоторых из них в надежде заставить их упасть с разгоряченных лошадей.

О мужестве Беатриче приводится много примеров, но в то время, несомненно, она была немного опьянена молодостью и счастьем. Тротти написала Ферраре о борцовском поединке между ней и Изабеллой Миланской, в котором Беатриче удалось сбросить Изабеллу с ног. И неутомимость этого создания проявилась также в ее собственном письме к Изабелле Мантуанской, в котором она рассказывала своей сестре, как каждый день после их обеда она играла в бал с кем-нибудь из своих придворных. В том же письме есть еще одно заверение, что она была действительно счастлива, не только потому, что была молода и полна сил, но и потому, что ее сердце было удовлетворено, поскольку она упоминает, как будто оно самопроизвольно переполнилось радостью, еще достаточно свежей, чтобы удивляться, насколько нежным был к ней ее муж. Она добавила милый и нежный штрих, упомянув грядку чеснока, которую она специально посадила для своей сестры, когда та приедет погостить к ним, поскольку чеснок, очевидно, очень нравился Изабелле.

Утверждение Беатрис о любвеобильных привычках Людовико в значительной степени подтверждается. Однажды, когда она была больна, Тротти сообщил Ферраре, что Людовико не отходил от ее постели ни днем, ни ночью, но все свое время проводил, пытаясь успокоить и отвлечь ее.

Что касается Беатриче, то, следовательно, эта болезнь не могла быть полностью плачевной. В природе женщин не завидовать цене, заплаченной за видимые гарантии того, что их любят, и для Беатриче Людовико вскоре стал неотъемлемой частью жизни.

Через некоторое время после этого настоящая герцогиня, Изабелла, родила сына. Наконец-то Джангалеаццо стал не только герцогом, но и обзавелся наследником, который придет после него. Этот ребенок разрушил перспективы регента. Джангалеаццо, слабый и глупый, не обладал способностями к старчеству. До сих пор способный и популярный регент держался непринужденно и грациозно, надеясь, что однажды его убедят занять место своего племянника. Сын Изабеллы укрепил балки в ее доме и вернул будущее Людовико к простой службе, позолоченной и почетной, но, в конце концов, всего лишь службе дому, главой которого он не был. Более того, для Беатриче и Людовико этот новорожденный придавал ситуации оттенок либо плоской посредственности, либо нового тайного уродства. Однако на первый взгляд никаких изменений не наблюдалось. Состоялись общественные торжества по случаю рождения наследника, после чего жизнь вернулась в привычное русло. Есть фотография тех дней, сделанная много лет спустя секретарем Беатрис, *элеганттиссимо* Кальмета, как его

называли в то время. Он писал, что ее двор был полон выдающихся людей, от которых ожидалось, что все они будут использовать свои таланты для ее интеллектуального удовольствия. Когда ей больше нечем было заняться, секретарша читала ей вслух Данте или какого-нибудь второстепенного поэта, и в таких случаях Людовико чаще всего приходил послушать вместе с ней.

Кальмета упоминает некоторых людей, которые сделали двор Беатриче замечательным, но величайший из них, Леонардо да Винчи, в список не включен. Насколько можно судить, Леонардо очень мало участвовал в личной жизни Беатриче. Его жизнь была окружена тем, что Уолтер Патер называет “любопытством и стремлением к красоте”, и страсть к человечности была в нем развита очень слабо. Он верил в уединение и, в ограниченной и сердечной манере, предавался ему.

Говоря о своем приезде в Милан, Патер, ссылаясь на факты, приведенные Вазари, говорит: “Он приехал вовсе не как художник и не заботился о его славе; но как игрок на арфе, странной серебряной арфе его собственной конструкции, по форме напоминающей лошадиный череп. Капризный дух Людовико также был восприимчив к силе музыки, и в натуре Леонардо было что-то вроде очарования. ”Очарование” - это всегда то слово, которое описывает его”.

Письмо Леонардо Людовико о его приезде в Милан написано в совершенно ином настроении и, прочитанное в свете его славы, наполнено юмором. Он говорит: “Увидев и обдумав эксперименты всех тех, кто считается мастерами в искусстве создания боевых машин, и обнаружив, что их изобретения ни на йоту не отличаются от уже используемых, я осмеливаюсь просить возможности ознакомить ваше превосходительство с некоторыми из моих секретов.

“Во-первых, я могу строить мосты, легкие, прочные и их легко переносить, чтобы можно было преследовать и разгромить врага; также другие, более прочной конструкции, которые, сопротивляясь огню и нападению, легко разбираются на части и устанавливаются на позиции. Я также могу сжечь и уничтожить тех, кто принадлежит врагу.

- Во-вторых, во время осады я могу перекрыть подачу воды из траншей и изготовить понтоны, штурмовые лестницы и другие приспособления подобного рода.

Далее следуют семь других параграфов, объясняющих способы обеспечения успеха в войне на суше или на море. Только в конце десятого он затронул менее важные военные вопросы. Затем он написал: “В мирное время я верю, что мог бы доставить вам такое же удовольствие, как и любой другой, как в проектировании общественных и частных зданий, так и в строительстве акведуков. Кроме того, я могу заняться скульптурой из мрамора, бронзы или глины. В живописи я так же компетентен, как и любой другой человек, кем бы он ни был. Более того, я бы выполнил поручение бронзового коня и тем самым даровал бессмертную славу и почести славной памяти вашего отца и прославленного дома Сфорца.

Леонардо рисовал Чечилию Галлерани для Людовико еще до приезда Беатриче, но, насколько известно, никогда не писал Беатриче. Миссис Картрайт предполагает, и это мнение повторялось в других местах, что причиной этого была ревность Беатрис к красивой женщине, которая была до нее. Но это не соответствует ее натуре. Беатриче любила все красивые картины и обладала слишком большой интуицией, чтобы не понимать, что если кто-то и мог придать ее портрету красоту, то именно Леонардо. Какую бы странность ни исходила изнутри, он бы изобразил ее на поверхности. То, что он никогда не написал бы ее, удивительно, но в то же

время абсолютно очевидно, что он никогда бы не почувствовал к этому никакой склонности. Леонардо не интересовало ни одно женское лицо, которое могло бы выглядеть счастливым и быть удовлетворенным этим простым обладанием. И в выражении лица жены регента не было ни сдержанности, ни тонкости, за исключением, возможно, тонкости дерзости и смеха.

Вскоре Беатриче родила сына, и все зловещие мысли, которые раньше мелькали в голове Людовико, теперь стали постоянными и конкретными. Роды Беатриче сами по себе были первой открытой угрозой для Изабеллы. Приготовления к появлению ребенка были опасны своей непригодностью. Появление на свет сына королевы не могло быть обставлено более изысканной церемонией. Постельные принадлежности и колыбель были представлены послам так, словно они ждали будущего монарха. Колыбель была из золота, покрывало на ней - из золотой ткани. Безограничений по стоимости были украшены три комнаты — одна для матери, одна для ребенка и одна для подарков, которые поступали каждый час. Не успел мальчик родиться, как были назначены публичные торжества. Шесть дней звонили в колокола, проходили процессии, были освобождены заключенные за долги, и послы, члены совета и все важные чиновники пришли поздравить стройную девушку, лежавшую в ее великолепной постели с драпировками из шелковицы и золота.

Тем временем при дворе Джангалеаццо Изабелла, должно быть, чувствовала, что ее душит горечь — горечь и болезненное отчаяние любого существа, внезапно осознающего, что оно в ловушке. Все помнили, что, когда два года назад родился настоящий наследник герцогства, было меньше экстравагантности и формальностей, чем при появлении на свет младенца регента. И когда неделю спустя Изабелла тоже легла спать и произвела на свет второго ребенка, пытки тела, должно быть, были ничтожны по сравнению с пытками разума, который знал, что его дети уже обречены на лишение наследства. Даже ее заточение стало удобством для Людовико, который смог сообщить послам, что ликование было для двойной радости, хотя это заявление не было сделано с каким-либо намерением ввести в заблуждение. Тонкий кончик клина был вбит, и Людовико желал, чтобы люди стали подготовленными и закаленными к тому, что однажды им навязали как законченную политику.

Когда обе герцогини поправились, были организованы церемонии благодарения. Они ехали вместе в великолепной одежде в составе великолепной процессии к церкви Святой Марии делла Грации. Беатриче, возможно, и произнесла какую-то легкую благодарность, преклоняя колени, но для Изабеллы этот день, должно быть, был жгучей мукой, изматывающей до глубины души. Они с Беатрис сидели бок о бок, и их платья были почти одинаково экстравагантны. Публика видела только две великолепные фигуры, украшенные драгоценностями, но одна из двух женщин уже ненавидела другую, с сердцем, раздутым обидами, которые она не осмеливалась произнести вслух.

С этого дня о жизни Изабеллы даже думать страшно, потому что планы Людовико вскоре перестали быть секретом. Король римлян должен был жениться на своей племяннице — сестре Джангалеаццо - и получить за ней огромное приданое. Взамен он должен был подарить Людовико инвеституру Милана. На бумаге эта смена герцогов не воспринималась как вопиющая узурпация. Джангалеаццо ловко поставили в положение грешника. По-видимому, внезапно выяснилось, что он вообще не имел права на герцогство без согласия Максимилиана. Висконти владели им в качестве феода от империи. Когда они умерли, он должен был вернуться в ведение Германии. Герцогство принадлежало императору, и Сфорца, владевшие им по

собственной воле, делали их не кем иным, как авантюристами. Иль Моро, утвержденный римским королем в качестве герцога, будет владеть герцогством на законных и безупречных основаниях и, следовательно, лишит собственности лишь существо, не имеющее никаких прав владеть им в любое время и к тому же недееспособное.

Изабелла со страстной яростью боролась за своего ребенка и свое положение. Это было храбро, душераздирающе и бесполезно. Джангалеаццо нельзя было заставить даже понять вероломство Людовико. В порыве гнева он мог избить свою жену, как ребенок бьет то, что его оскорбляет. Но он мог понять не больше, чем ребенок, что человек, который никогда не сказал ему ни одного недоброго слова, тем не менее намеревался причинить ему зло. Иногда, теряя контроль, Изабелла фиксировала историю грядущей узурпации власти Людовико в его рассеянном внимании. На мгновение ее пылкие фразы вызвали какое-то смутное восприятие. Но вскоре Людовико и мальчик встречались, и Джангалеаццо, на самом деле сбитый с толку и беспомощный без поддержки этого способного, приятного родственника, на которого он полагался с младенчества, выпаливал все обвинения своей жены и возвращался к ней, успокоенный прежней безоговорочной верой. Ни одна живая душа не смогла бы помочь ей, в то время как толпа перешла на сторону беззаботной, торжествующей герцогини, которая безжалостно занимала ее место.

Из всех женщин эпохи Возрождения нет более жалкой и невинно покинутой, чем эта девушка Изабелла, вышедшая замуж за никчемного сына сумасшедшего и противостоящая несправедливым страстям некоего Людовико. Он и Беатрис превратили ее жизнь в кошмар, но они никогда не унижали ее мужество. Письмо ее отцу, переданное Корио как ее собственное, но обычно рассматриваемое историком так, как оно сформулировано, показывает благородную ярость, которая пробежала по ее телу. В пылких фразах она обнажила несправедливую нищету своего положения. Джангалеаццо был совершеннолетним и должен был когда-нибудь унаследовать герцогство своего отца. Но это было настолько далеко от истины, что даже самое необходимое для существования было предоставлено им Людовико, который не только обладал всей политической властью, но и держал их практически беспомощными и беззащитными. Горькая боль, которую она перенесла из-за Беатриче, проявилась при упоминании сына последней и королевских почестей, оказанных ему при рождении, в то время как к ней и ее детям относились как к незначительным. По правде говоря, добавила она — и во всем этом письме есть что-то такое горячее, страстное и безрассудно искреннее, что трудно поверить, что его написал кто-то, кроме самой Изабеллы, — они остались во дворце, фактически рискуя своими жизнями, из-за смертельной зависти Людовико, жаждущего сделать ее вдовой. Но ее письмо, несмотря на все его отчаяние и гнев, было проникнуто несокрушимым духом. Когда она рассказала об опасности, одиночестве и унижительности своего положения, объяснив, что у нее нет ни одной живой души, с которой она осмеливалась бы говорить открыто, поскольку все ее слуги были предоставлены Людовико, она закончила смелым и вызывающим заявлением, что, несмотря ни на что, ее мужество все еще остается непоколебимым.

Беатриче, правда, не проявляет храбрости в этом вопросе. Правда, с мирской точки зрения того времени, это было не так уродливо, как кажется сегодня. Положение в эпоху Возрождения было законным для тех, кто был достаточно неукротим, чтобы им воспользоваться. Но сокровенная интуиция сердца не претерпевает значительных изменений ни в какой период, и в этом Беатриче от природы не была слаба. У нее были сильные привязанности и множество основных черт характера — смех, смелость, проницательность, чистосердечие, разнообразие талантов.

Но в первые годы своей супружеской жизни у нее было слишком много радостей сразу. В ее жизни не было ничего, что могло бы оживить духовные качества или воспитать более тонкие черты характера — жалость, сострадание, живое понимание других горестей. Она жила слишком быстро, и у нее не было времени, чтобы ее мучила совесть. О том, что она могла быть нежной, свидетельствуют небольшие происшествия. Ее материнство, например, было одновременно очаровательным и детским. Отправляя портрет ребенка, она написала своей матери, что, хотя прошла всего неделя с тех пор, как картина была написана, ребенок уже подрос, но она не осмелилась прислать его точный рост, потому что все говорили ей, что, если она измерит его, он никогда не вырастет должным образом.

Невинная глупость этого обезоруживает суровое суждение. И при оценке отношений Беатриче к Изабелле Миланской нет необходимости делать вывод о плохом расположении духа из одного плохого поступка. Никакая индивидуальность не может быть отделена от некоторых случайных недостойнств. В этом вопросе Беатриче была непростительной, бессердечной, ею двигали только несправедливые амбиции. Но в других она была очаровательной, нежной, вдумчивой, и более того, в обстоятельствах колоссальных искушений и чрезмерного богатства она оставалась преданной женой, верным другом и женщиной, способной в конце концов испытать горе, достаточно глубокое, практически, чтобы убить ее. Кроме того, Беатриче было труднее, чем большинству людей, быть действительно очень святой. В ней было слишком много всего — жизненной силы, интеллекта, обаяния личности, — и, как следствие, зов жизни стал слишком громким и настойчивым. Отчасти именно за это ее любят. Ибо у нее было достаточно изящества, чтобы вызывать любовь, но недостаточно, чтобы быть выше потребности в сострадании и понимании, вызывающих сожаление. Конечно, можно быть необычайно крепким — чувствовать, как жизнь *поет* в твоём теле благодаря одному лишь физическому благополучию, — и в то же время гореть духом. Но несомненно, что когда к женщине добавляется значительное личное обаяние, эта чрезвычайная жизнестойкость значительно затрудняет сохранение только приятного и прозрачного мышления. Каждый реальный момент становится слишком захватывающим и достаточным.

Конечно, нет смысла отрицать, что с тех пор, как Людовико погрузился в политику с сомнительной репутацией, Беатриче многое о них знала. Фактически, чтобы помочь в их выполнении, она сама вскоре была отправлена посланником в Венецию. Венецианцы неохотно соглашались с намерениями Иль Моро, и в Милане поняли, что то, что можно потерять в споре, можно выиграть невысказанным убеждением. В любом случае, хорошенькая женщина, сама веселость, такт и отзывчивость, могла быть только приятным происшествием для компании пожилых джентльменов. Итак, Беатриче, надев одежду, которая ей больше всего шла, отправилась в Венецию, где сводила женщин с ума порочным избытком своего личного великолепия. Но хотя женское общество Венеции не любило ее, Беатриче знала, что ее дело — общаться с мужчинами, и поэтому, чтобы очаровывать, она должна излучать очарование, которое сразу бросается в глаза.

Во время своего визита она писала длинные письма своему мужу, рассказывая ему все, за исключением информации, которой неразумно доверять бумаге. Она даже дала описание одежды, которую надевала в каждом случае. Этот факт интересен, потому что ничто не могло бы яснее показать близость их супружеских отношений. Только когда муж и жена находятся в самых нежных дружеских отношениях, мужчине интересно слышать, что носит его жена, и даже

тогда он должен обладать тем, что можно было бы назвать талантом к ведению домашнего хозяйства.

Следующим шагом в политике Людовико стала свадьба Бьянки, сестры Джангалеаццо. Именно во время театрализованных представлений, организованных для демонстрации величия брака, герцогиня Изабелла в последний раз храбро выступила на публике. Она точно знала, что лежит в основе их брака, но до конца сохранила прекрасную выдержку, присущую хорошему воспитанию. На всех церемониях, предшествовавших отъезду Бьянки в Германию, Изабелла внешне вела себя так, как и подобает любой женщине со спокойным сердцем, которая была первой леди Милана. Позже, по крайней мере, часть боли, бушевавшей внутри, должна была выплеснуться внезапным потоком. Но на людях ничто не нарушало ее удивительного самообладания. Только до Карла VIII. приходил навестить ее наедине, открыто выражал ли свои накопившиеся горести.

До этого Людовик XII, в то время герцог Орлеанский, был отправлен в Италию для обсуждения планов с Людовико. Тогда никто особо не задумывался о человеке, которому позже суждено было уничтожить Иль Моро. Современник насмешливо писал, что его голова была слишком мала, чтобы вместить много мозгов, и что Людовико было бы достаточно легко перехитрить его. Карл последовал за ним, когда Беатриче и ее двор отправились из Милана в Асти, чтобы очаровать и позабавить его. Беатриче даже танцевала для его удовольствия, и она была изысканной танцовщицей. В результате Чарльз метафорически пал к ее прелестным ножкам, что было вполне естественно, учитывая, что она должна была быть достаточно веселой и молодой — в ярко-зеленом платье и с ошеломляющим блеском драгоценностей, - чтобы очаровать кого угодно.

Следуя за герцогиней, излучавшей сияние и беззаботность, Изабелла, с другой стороны, лишенная всего, кроме одиночества, могла показаться лишь неприятной интерлюдией. Джангалеаццо уже был болен в Павии, когда Карл VIII вторгся в Италию, но после того, как Людовико и Беатриче сделали все возможное, чтобы развлечь французского короля, он переехал в город Павия. Здесь настоящий герцог лежал в постели, и именно Изабелла встретила короля и Людовико у входа в Кастелло, поразительно красивая в своем беззаботном соблюдении светских обязанностей. Коммин приводит подробный отчет о внезапном протесте Изабеллы против разрушения, готовящегося для ее дома. В этом отчете он говорит, что король сказал ему, что хотел бы предупредить Джангалеаццо, если бы тот не боялся последствий с Людовико. Коммин добавляет, что, не обращая внимания на присутствие герцога Бари, Изабелла упала на колени перед французским королем и жалобно умоляла его сжалиться над ее отцом и братом, в ответ на что, поскольку ситуация была для него очень неловкой, он мог только умолять ее подумать о муже и о себе, ведь она все еще такая молодая и прелестная женщина.

То, что Чарльз жалел этих двоих, как ягнят, лежащих в лапах волка, совершенно ясно из заявления Комминса.

А через несколько дней Джангалеаццо умер. Его жизнь была бесполезной, но он расстался с ней с подкупающей мягкостью. После тяжелой болезни он пришел в себя, принимал достаточное количество пищи и немного спал. В тот же вечер он попросил показать ему двух лошадей, присланных Людовико, и их привели в большой каменный зал, из которого выходила его комната. Он говорил о Людовико, его уверенность оставалась детской и непоколебимой до

конца. Его дядя, сказал он, был бы уверен, не так ли, что приехал бы навестить его, если бы французские дела не привлекли к нему внимания? Слабея, он спросил своего любимого слугу — примерно так, как женщина могла бы спросить о своем возлюбленном, ради удовольствия услышать ответ, — считает ли он, что дядя любит его и скорбит о его серьезной болезни. Удовлетворенный, он попросил разрешения взглянуть на своих борзых, а затем, успокоив все свои мелкие интересы, спокойно уснул. На следующее утро он был мертв, и путь Людовико стал легче, чем раньше. Фактически, он был немедленно провозглашен главой "Милана". Гвиччардини говорит по этому поводу: "Главы совета предложили, чтобы, учитывая важность герцогства и наступающие для Италии опасные времена, было крайне нежелательно, чтобы ребенок, которому еще нет пяти лет, стал преемником своего отца.... Честолюбие взяло верх над честностью, и на следующее утро, после некоторого притворного нежелания, он принял имя и герб герцога Миланского".



ПОРТРЕТ, ВЕРОЯТНО, ЧЕЧИЛИИ ГАЛЛЕРАНИ,
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО РАБОТЫ АМБРОДЖО ДА ПРЕДИСА

В то время Людовико почти повсеместно приписывали убийство Джангалеаццо, но с тех пор это обвинение утратило силу. Практически это было основано на том факте, что момент кончины герцога был слишком подходящим, чтобы выглядеть естественно. Более того, несмотря на то,

что думали люди, никто не осмеливался высказываться открыто, и Людовико, блистая золотыми одеждами, поехал в церковь Святого Амброзио, чтобы публично поблагодарить за свое восшествие на престол. На данный момент ветер был с ним. Беатриче тоже стала первой леди Милана, и ее душа находилась в более опасном состоянии, чем когда-либо. Она достигла места своего желания слишком темными путями, чтобы красота мыслей могла сильно овладеть ею.

Между тем, с этого времени Изабелла ведет уединенное существование. Но сначала произошел инцидент, в который по-прежнему очень трудно вникнуть. Буквально находясь во власти Людовико после смерти своего мужа, она все еще держалась мужественно. Какое-то время она отказывалась покидать Павию. Когда она это сделала, нам рассказывают, что Беатриче выехала ей навстречу, и что, когда они поехали вместе, примерно в двух милях от города, она вышла из своего экипажа и села в экипаж Изабеллы, при этом обе женщины горько рыдали. То, что Изабелла заплакала, было естественно; она была слаба от усталости от горя. Но Беатриче была не в том характере, чтобы плакать легко или фальшиво. Очевидно, оказавшись лицом к лицу с ценой, заплаченной за ее собственное положение, она на мгновение почувствовала невыносимую тяжесть, и она заплакала, потому что Изабелла была живым выражением отчаяния, а когда-то они были близки и общительны. Одному богу известно, что они сказали друг другу во время этой совместной поездки, и нашла ли Беатрис по мимолетной милости внезапного раскаяния что-нибудь, что вдова могла услышать без чувства тошноты. О том, какой ужасной, по мнению Изабеллы, стала ее жизнь, свидетельствует необычайно нежное упоминание о ней придворным шутком Бароном, который написал, что она так изменилась, похудела и была убита горем, что даже самое черствое сердце не смогло бы смотреть на нее без сострадания.

Но Миланскому герцогству суждено было принести мало счастья тем двоим, кто приобрел его таким жалким путем. Итальянская кампания Карла вскоре поставила Людовико перед трудностями и опасностями. В начале этого пути он был великим человеком. Но когда один итальянский город за другим превращались для Карла в половую тряпку, по которой он мог ходить, он внезапно осознал изъясн своей политики вторжения во Францию. Одно дело - разоренный неаполитанский Ферранте; совсем другое - Италия, отданная Карлу VIII.

Он даже лично не был в безопасности с Людовиком Орлеанским в Асти. Была сформирована лига, в которой объединились папа римский, король римлян, король и королева Испании Генрих VII. Англии, синьории Венеции и герцога Милана. Муж Изабеллы Д'Эсте был произведен в капитаны с прямой обязанностью помешать Карлу триумфальному возвращению во Францию. Эта борьба с королем, которую так уговаривали вначале, и последующий мир, заключенный между ним и Людовико, - чисто исторический факт. Однако в нападении на Асти, предпринятом Людовиком Орлеанским, Беатриче проявила великолепное и практичное мужество. Собственная пронизательность Людовико умерла от болезненного ужаса, и он поспешил обратно в свой укрепленный замок в Милане. В то время мало кто сомневался, что он страдал от нервного истощения; но именно Беатриче своим мужественным красноречием взбудоражила Милан, и именно Беатриче приказала принять меры, необходимые для защиты города и Кастелло.

Примерно в это же время она проявила обезоруживающую и сердечную правоту чувств. Среди трофеев, которые муж ее сестры Изабеллы, Франческо, приобрел у французов, были несколько драпировок, принадлежавших собственному шатру Карла VIII. Первоначально они были

отправлены Изабелле, но вскоре Франческо попросил ее отправить их обратно, так как он хотел подарить их Беатриче. Это разозлило Изабеллу. В какой-то степени у нее были на то причины, но выражение ее лица было отталкивающе нелюбезным. Несмотря на это, повешение было отправлено Беатрис. К счастью, у нее их не будет. Так же остро, как Изабелла, она любила красивые и примечательные вещи, но, просто заявив, что в сложившихся обстоятельствах, по ее мнению, они ей не должны принадлежать, она вернула драпировки своей сестре. Поступая так, она начинала практиковать маленькие тонкости, которые помогают поддерживать привлекательность существования. Если бы она была жива, то почти наверняка пережила бы чрезмерный эгоизм своей супружеской жизни. В конце концов, они были в значительной степени вызваны поглощенностью, от которой страдает вся молодежь в первый неустроенный, неопределенный период, когда жизнь все еще полна новизны и личных волнений. Но ее время было недолгим, и после заключения мира с Францией конец стал для нее ужасающе близок.

В течение пяти лет она была счастлива. Людовико был для нее неотъемлемой частью рая, и после первой жестокой борьбы она жила в мягкой безопасности равной привязанности. Природа наделила ее умом и соблазнительностью. Иметь и то, и другое в одном человеке, а затем, в качестве венца, обладать даром беззаботности - это было больше, чем большинство женщин могут рассчитывать в непрестанном труде по сохранению привязанности мужа. Но Беатриче воодушевляло даже больше, чем это. Вкусы мужа и жены были схожи — у Людовико не было увлечений, выходящих за рамки ее понимания. Тем не менее, в двадцать лет она столкнулась с разочарованием, которое у большинства жен появляется после сорока. Она не могла оградить своего мужа от очарования других женщин. Она была всем, но пришло время, когда хорошенькое личико разрушило ее покой, как домик из тонкого картона.

Она зачерствела — наблюдательность, притупленная фамильярностью, не могла произвести нового впечатления. Те самые годы, которые они прожили вместе, работали не на нее, а против. Все ее поступки превратились в крик попугая; поступки других женщин были новыми и наполовину загадочными. Кроме того, в то время она была физически в особенно незащитном состоянии. Когда последняя страсть унесла Людовико от нее, Беатриче снова ожидала, что станет матерью.

В то время среди членов ее семьи была дочь миланского дворянина, девушка по имени Лукреция Кривелли. Эта Лукреция Кривелли была слишком красива, чтобы чувствовать себя в безопасности в доме любого мужчины, чувствительного ко всем драгоценным или прелестным предметам. Действительно, может ли что-нибудь быть более изысканным, чем ее лицо, нарисованное Леонардо да Винчи? В то же время, если долго смотреть на прекрасный овал, то можно увидеть, что его кротость - чисто притворное выражение. Глаза тоже, такие нежные, безмятежные, наблюдательные, лишь немного, хотя и иллюзорно, беспринципны. По сути, это лицо молодой девушки со всеми тонкостями и милым, доверчивым спокойствием неопытности; но это также лицо, уже богатое властью, сдержанностью и молчаливой обдуманностью поведения. В дополнение ко всему этому, у нее были золотистые волосы, почти идеально очерченная голова. При любом дворе она произвела бы сенсацию — такая ослепительная, и в то же время такая тихая, такая замкнутая, такая скромная и неуловимо исполненная достоинства. Темперамент у нее, вероятно, был холодный. В его благодатной тишине больше мысли, чем чувства — мысли и смутного намека на боль, не в настоящем, а в будущем. Неудивительно, что она нарисовала Людовико. Быть молодой, красивой — на это приятно

смотреть — и, вдобавок, задевать струны мужского сердца всего лишь намеком на тоску - значит быть невыносимо опасной.



ЛУКРЕЦИЯ КРИВЕЛЛИ
РАБОТЫ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Восхищение Людовико быстро стало безошибочным. Беатрис увидела, что дружба между ними внезапно превратилась из постоянных уколов булавкой в нечто смертельное для ее сердца. Эти двое ежечасно оказывались в обществе друг друга — мужчина с воспламеняющей реакцией на красоту и девушка со сдержанной и дразнящей привлекательностью. Это была напряженная

драма троих. Ибо Беатриче всегда была там в роли замученной третьей. С самого начала ее ничто не щадило. Каждый день какой-нибудь новый инцидент потрясал ее невыразимыми предчувствиями. Постепенно, пока она наблюдала за этими двумя, существование превратилось в застывающий ужас. В начале, должно быть, были какие-то сцены. Ни одна женщина не смогла бы смириться с таким кризисом, как этот, и не взывать о пощаде. Но Беатриче, с врожденной мудростью, которая так скоро окрепла в ней, быстро поняла, что мольба подобна голосу, пытающемуся перекричать бурю. Людовико был без ума. Все знали об этом деле и говорили об нем, как при Миланском дворе, так и за его пределами. В 1496 году посол Феррарезе написал, что последними новостями из Милана было увлечение герцога одной из фрейлин его жены, с которой он проводил большую часть своего времени - факт, который там широко осуждался.

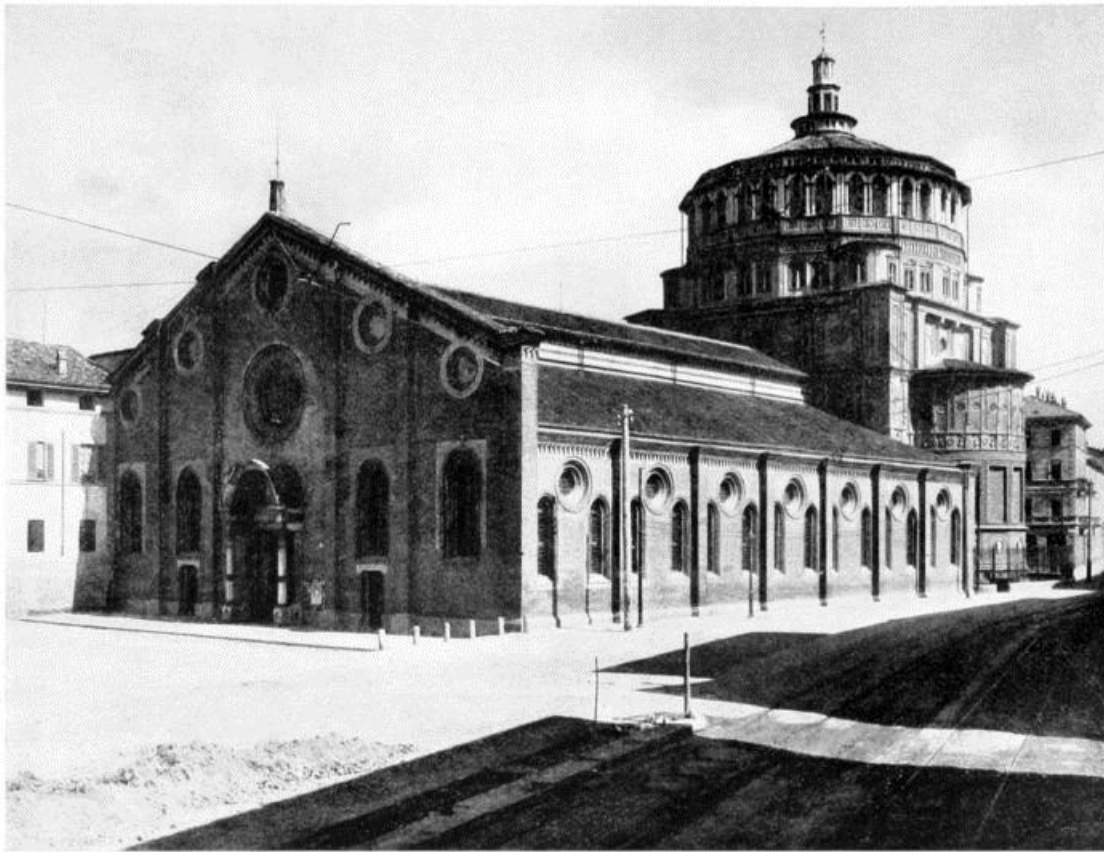
Той же осенью умерла внебрачная дочь Людовико, которую Беатриче удочерила, когда приехала в Милан, и которую она очень любила. Всего несколько месяцев назад она была замужем за Галеаццо ди Сансеверино, который так много помогал Беатриче веселиться в первые месяцы ее замужества. Ее звали Бьянка, и на ее портрете работы Амброджо да Предиса — портрете, который, как иногда говорят, принадлежит Беатриче Д'Эсте, — она выглядит очаровательно. Ее смерть настигла Беатриче, когда она уже была убита горем. Дюжину раз между рассветом и отходом ко сну Лукреция и Людовико обретали силу, заставлявшую кровь стучать у нее в висках. Муральто, который упоминает, что Моро сделал девушку своей любовницей, говорит с простотой, характерной для того периода, когда касались чего-либо эмоционального, что, хотя это вызвало у Беатриче горькие душевные муки, это не могло изменить ее любви к нему. Совершенно очевидно, что Беатриче ничего не смела противопоставить этой более поздней любовнице. С поразительной мудростью — мудростью разума, углубленного опытом, — после пяти лет супружеской жизни она не боролась с лихорадкой этой бурной страсти. Но страстное беспокойство изматывало ее. Дни казались ей бесконечными и невыносимыми. Через несколько недель ее поведение полностью изменилось. У нее, которая в течение многих лет была воплощенной радостью, слезы всегда были на поверхности. В конце концов она слишком устала, чтобы контролировать их, потому что нет слабости, подобной той, что возникает из-за одиночества, постоянно подстрекаемого к новым ощущениям. И ее дамы, и придворные, в силу неизбежной публичности придворных привычек, часто видели, как ее глаза застилали беззвучные слезы. Но она ничего не сказала, и они не могли быть уверены, упали ли они из-за поведения ее мужа или из-за смерти Бьянки.



ВЕРОЯТНЫЙ ПОРТРЕТ БЬЯНКИ СФОРЦА , ЖЕНЫ ГАЛЕАЦЦО САНСЕВЕРИНО

В какой-то степени она внезапно прониклась новым мировоззрением. Всю свою предыдущую жизнь она была откровенной материалисткой; вопрос о смерти маячил слишком далеко, чтобы нуждаться во внимании. Но внезапно жизнь предала ее, и от горького осознания ее жестокости душа пробудилась к трагическому пробуждению.

Ренессанс, по ее мнению, оказался неадекватным. Он обещал, вместе с художественной и философской культурой, принести счастье. Но на практике это ничего не дало женскому сердцу. Это не могло ни сделать мужчин верными, ни избавить теплые и простые семейные устои от последствий нестабильности. Оставалось вернуться к вопросу о загробной жизни, и Беатриче, охваченная лихорадкой и пытками, попыталась сосредоточиться на этой перспективе. Бьянка была похоронена в церкви Святой Марии делле Грации, и в последние месяцы своей жизни Беатриче выработала привычку постоянно ходить к ее могиле и оставаться там по несколько часов кряду. На самом деле, потерпевшая кораблекрушение в том, что касалось жизни, и доведенная приближающимся материнством до близости и возможности смерти, ее душа, наконец, обрела трепетную настороженность, побудившую ее к молчаливому самоанализу в темной и спокойной церкви, где девушка, которая была жива совсем недавно, теперь тихо покоилась в могиле. Только самые непоколебимые агностики могут приблизиться к смерти и не почувствовать внезапно непреодолимой необходимости в каком-то подготовительном снаряжении - в каком-то сознании чистого и оправданного существования. И Беатриче, чьи манеры намекали окружающим на наличие тайного предчувствия того, что надвигалось, была очень близка к тому моменту, когда этот покой, как воспоминаний, так и надежды, станет трагически необходимым.



ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ ДЕЛЛЕ ГРАЦИИ В МИЛАНЕ

2 января 1497 года она, как обычно, поехала в церковь Святой Марии делле Грации. Она оставалась там часами, как будто только в этом единственном мрачном месте могла получить небольшую передышку и покой. Ее фрейлинам— которым, вероятно, невыразимо не нравились эти прогулки, в конце концов с трудом удалось уговорить ее покинуть здание. Они отвезли ее домой, и она выглядела почти как обычно примерно до восьми часов вечера, когда в ней внезапно начались родовые муки.

Ее схватки длились всего три часа. Затем она родила мертворожденного ребенка и вскоре после полуночи умерла. В течение короткого часа она лежала в своей кровати с балдахином, измученная телом и испытывающая дискомфорт в душе. Потом она умерла, и то, кого любил или не любил Людовико, не имело для нее ни малейшего значения.

Но ее смерть была жестокой, неожиданной, внезапной и подействовала на Людовико как ледяной душ. Страсть к Лукреции быстро угасла из-за пережитого потрясения. Беатриче, если бы она знала это, никогда не была бы отвергнута окончательно, и мысль о жизни без нее не была частью безумия Лукреции.

И внезапно она умерла. Примирения не было. Из-за внезапности ее падения не было промежутка времени, за который можно было бы вернуть ее к джой. Она перенесла сильную боль, а затем, охваченная жалкой слабостью, ушла из жизни.

Горе Людовико стало невыносимым. Его страстная протрация была настолько необычной для бессердечия того времени, что все говорили об этом. Он отказывался, чтобы ее имя

упоминалось в его присутствии, и когда большинство вдовцов того времени подумывали бы о второй жене, о нем по-прежнему говорили, что он больше не заботится ни о своих детях, ни о своем состоянии, ни о чем-либо на земле.

Через семь месяцев после ее смерти он все еще оставался явно изменившимся человеком. Он стал религиозным, ежедневно совершал богослужения, соблюдал посты и жил “целомудренно и благочестиво”. Его комнаты по-прежнему были задрапированы черным, он всегда ел стоя и каждый день ходил на некоторое время к могиле своей жены в церкви Святой Марии делле Грации.



ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕАТРИЧЕ Д'Эсте
В МУЗЕЕ ЮЖНОГО КЕНСИНГТОНА

Его последний поступок в связи с Беатриче полон определенной трогательной сентиментальности. Это было, когда начался печальный конец его приключения, и он был вынужден бежать из Милана со всей возможной поспешностью. Его безопасность зависела от его быстроты. Зная это, он, тем не менее, остановился в церкви Святой Марии делле Грации и так долго пробыл у могилы своей жены, что небольшая группа, находившаяся рядом с ним, забеспокоилась не только о его шкуре, но и о своей собственной. Наконец он вышел, по его лицу текли слезы, и, отъезжая, он трижды оглядывался в сторону церкви, как будто все, что было дорого его сердцу, оставалось там, позади.

Вскоре после этого он был схвачен, и его заключение в Лоше - одно из немногих непростительных пятен на характере Людовика XII.

АННА БРЕТОНСКАЯ

1476-1514

С Анной Бретонской во Францию пришло Возрождение. Сама она, хотя и отличалась некоторой привередливостью, вряд ли принадлежит к этому периоду. В ее темпераменте не было

артистизма. Она была умной, но чрезмерно практичной женщиной, которая дважды выходила замуж за мужчин, противоположных ее собственным. Анна, несомненно, никогда не сияла при мысли о прекрасном в своей жизни, но оба ее мужа сияли, и оба, в результате своих итальянских кампаний, принесли во Францию множество новых и поучительных прелестей. Карл VIII, первый муж Анны, и Людовик XII, ее второй муж, дали основной импульс движению Возрождения во Франции.

Что касается самой Энн, то, хотя в конце концов она обращается к нам, несмотря на колоссальный груз горя, ее слова воспринимаются главным образом как предостережение. Почти все качества, на избегание которых женщине следовало бы тратить свои силы, она бессознательно прижимала к своей душе, и всех качеств, которые нужны женщине как основа ее личности, у нее не было. Женщина должна быть сама снисходительность, а Энн никому не потакала; женщина должна быть полнымместищем сочувствия, терпимости и всепрощения, а Энн никого не прощала и не терпела ничего, что шло против нее. Женщина должна быть — это, без преувеличения, ее главная сущность — приятной в общении, уютной, покладистой, коварной льстецей, почти непреднамеренно стремящейся не только к счастью, но и к праведности жизни. Так вот, Энн никогда не смогла бы чувствовать себя уютно, и сомнительно, что, благополучно выйдя замуж во второй раз, она снизошла бы до того, чтобы кого-то обхаживать. У нее не было достаточной любви, чтобы иметь излишек для раздачи. Некоторые обязанности она могла выполнять превосходно, но подсознательно у нее не было ощущения, что, выходя замуж, она занимает один из самых влиятельных постов в мире. У нее не было способности понять, что это восхитительная привилегия женщины — быть *самой по себе* настолько, что атмосфера дома, которым она управляет, в конечном итоге должна в основном выражать ее индивидуальность. И ничто не было более далеким от разума Энн, чем тайный триумф осознания того, в какой степени воспитание характера является обязанностью, возложенной судьбой на представителей ее пола.

Это не был ее дар — делать так, чтобы в любом доме становилось теплее, когда она входила в него. Ее второй муж любил ее — контраст — частый мотив для влюбленности, — но она ничего не могла поделать с темпераментом. Жестокость не влияет на характер, а Анна была воплощением императивов и деспотизма. Практические организации часто превосходно управляются с помощью этих методов, и как домохозяйка Энн достигла значительных успехов; но более нематериальные достижения находятся за пределами досягаемости холодной автократии.

Родившаяся в 1476 году, она была дочерью Франциска II Бретонского, врага Людовика XI Французского. Ее мать, Маргарита де Фуа, умерла, когда она была чуть старше младенчества, и первое, что слышали о ребенке Анне, было, как обычно, связано с вопросом замужества. В восемь лет уже не один поклонник желал ее руки. Английский принц Уэльский был принят, когда его убийство положило конец помолвке. Затем всерьез рассматривался вариант с овдовевшим эрцгерцогом Австрии Максимилианом, и в течение короткого времени Людовик, герцог Орлеанский, впоследствии ее второй муж, числился в числе тех, кто считался потенциально приемлемым. Он уже был женат на Жанне, дочери Людовика XI, но его неприязнь к женщине, навязанной ему ее зловещим родителем, никогда не скрывалась. Разрешение папы Римского могло в любое время сделать возможным еще один брак.

Эта идея недолго привлекала внимание, но мужчина и ребенок, в конце концов, однажды собравшиеся вместе, были отличными друзьями в то время, когда Энн училась в классной

комнате. Людовик Орлеанский, беспокойный и недовольный, мог вынести что угодно лучше, чем присутствие собственной жены. Жанна, которая была не только уродлива, но и отвратительна, однажды вырвала у своего собственного отца замечание: “Я не знал, что она такая уродливая”. Скрытая за физической неуклюжестью, ее натура была белой, как снег, и мягкой, как птичья грудка; но хотя каждая мысль, приходившая ей в голову, сливалась с нежностью, ей недоставало обычного веселья, необходимого для обычного существования. Она хотела стать монахиней, а вместо этого они сделали ее женой мальчика, который не испытывал к ней ничего, кроме неконтролируемого физического отвращения.

Луи, когда бежал в Бретань, не взял ее с собой, и каждый писатель согласен с тем, что хорошенький, не по годам развитый ребенок, которого он там нашел, и неудовлетворенный муж стали лучшими товарищами. Один хронист упоминает, что Анна была польщена *почестью*, которую оказал ей Людовик, но это очень соответствует его характеру - быть забавленным маленьким созданием со всем видом, грацией и женской буйностью, которыми Жанна не обладала. Людовик восхищался характером, и даже девятилетней Анне, должно быть, требовалось немало усилий, чтобы справиться с собой.

В 1488 году ее отец, наконец побежденный французами, был вынужден примириться с ними. Почти сразу после этого он умер, и Анна в двенадцать лет стала герцогиней Бретани.

В сложившихся обстоятельствах это было трагическое положение для любого ребенка, и маленькое детское личико и тонкий детский голосок Анны, стоящей во главе столь заброшенного герцогства, внезапно становятся трогательными. Более того, как только она была провозглашена преемницей своего отца, Франция направила заявление о том, что, поскольку существуют разногласия относительно их соответствующих прав на Бретань, она не должна, до решения арбитров, принимать титул герцогини. Ответ — твердый, но осторожный — сводился к заявлению о том, что Анна уже созвала штаты Бретани для ратификации недавнего договора, заключенного ее отцом с Францией.

К этому ответу ребенок, вероятно, не имел никакого отношения, но в жизненно важном вопросе своего замужества она внезапно совершенно определенно проявила себя авторитетной главой своих собственных владений. Все ее министры желали брака с графом Д'Альбре, который, как считалось, был в состоянии помочь Бретани вырваться из когтей ее врага. Д'Альбре был вдовцом, старым, уродливым, с дурным характером и отцом двенадцати детей. Энн ненавидела его — говорят, у него было прыщавое лицо, — а растущая антипатия детей не поддается никаким причинам. Прежде всего она, должно быть, немного испугалась, когда и ее гувернантка, и рослые бородатые мужчины, которые вели дела, сообщили ей, что, каковы бы ни были ее чувства, свадьба должна состояться. К счастью, она не была робкой и прекрасно понимала, что унаследовала власть своего отца. Она наотрез отказалась выходить замуж за Д'Альбре. Они спорили, уговаривали, пускались в бесконечные объяснения, но девушка просто упрямилась. Когда их назойливость не нашла другого выхода, она заявила, что скорее уйдет в монастырь и станет монахиней, чем выйдет за него замуж. Подобное упрямство, когда ребенок никому не был обязан подчиняться, вызывало изумление. Характер ее министров, должно быть, подвергся суровому испытанию, но от брака Д'Альбре в конце концов пришлось отказаться.

Затем Максимилиан был выдвинут еще раз - поклонник, по отношению к которому Анна, по-видимому, была более сговорчивой. Необходимо было за кого-то выйти замуж. Максимилиана она никогда не видела и потому могла относиться к нему до некоторой степени оптимистично. В

худшем случае он был бы лучше Д'Альбре, и был шанс, что он действительно обаятелен. Как только она согласилась, они не дали ей времени передумать. Максимилиан отправил своего фаворита, барона де Польена, в Бретань, и там, по немецкому обычаю, был заключен брак по доверенности. Невесту, одетую в ее лучшее платье, укладывали в кровать с балдахин, у изголовья клали лучшие подушки, а на ее маленькую фигурку накрывали лучшим покрывалом, и в присутствии необходимых свидетелей Полхейн обнажал одну ногу до колена и опускал ее на кровать. Эта короткая и простая церемония сделала Анну замужней женщиной, супругой короля Германии. В течение года после этого во всех прокламациях ее называли королевой, а Максимилиана герцогом Бретани.

Будь Максимилиан богат, он мог бы оставить себе жену и изменить историю. Однако он был слишком беден, чтобы прислать помощь, а Франция необычайно хотела заполучить Бретань. Таким образом, положение Анны с каждым месяцем становилось все более отчаянным, пока после падения города Нант окончательное поражение не стало неизбежным. Бретань без посторонней помощи была пигмеем, противостоящим колоссу. Трудно представить, какие факты детский ум маленькой герцогини усвоил за два года ее правления в Бретани. Каждую ночь ее люди укладывали ее в постель, зная, что враг час за часом подбирается все ближе к ней. Каждое утро в ее напряженное, озлобленное сознание врывались новые государственные проблемы. Она выучила наизусть безрадостные превратности судьбы еще до того, как познала их зажигательные компенсации. И по натуре Энн была гордой, упрямой, преждевременно умной. Это маленькое создание не было ошеломленным созданием, поддерживаемым могущественными чиновниками как простая фигура-глава государства. Никто лучше Энн не знал ценности ее собственного положения. Если она и плакала, когда мрачность ее домочадцев становилась все более явной, то плакала не от ужаса, а от горького осознания полного бессилия. Одна только мысль о том, что она может быть побеждена, вызывала бурю в пылком духе малолетней герцогини.

Ей было четырнадцать, когда ее спас компромисс. Карл VIII, чтобы уладить дело более надежно, чем это могло быть сделано каким-либо временным завоеванием, предложил выйти замуж за своего бывшего противника. Когда это предложение впервые было выдвинуто перед ней, Анна, естественно, отказалась с отвратительной яростью и горячностью. Никакие крайности не должны заставить ее смиренно думать о человеке, чьи амбиции были проклятием ее недолгого существования. Более того, она утверждала, что уже была женой короля Германии Максимилиана. Но Бриттани была в тяжелом положении, и еще раз все те, кто обладал властью убеждать, призвали ее рассматривать это предложение как дар божий для ее страны. Она не желала слушать; каждый нерв в ее теле восставал против этого человека, само предложение которого таило в себе угрозу. Наконец, был призван священник, чтобы помочь попавшему в беду консультанту, и бедной девушке, чье счастье все это время было единственным, о чем никто не думал, сообщили, что Святая Церковь потребовала этой жертвы ради благополучия своего народа. Тогда она сдалась; у нее не оставалось выбора. Состоялась беседа, во время которой вчерашние враги неохотно проявляли любезность. Три дня спустя они были обручены, и герцог Орлеанский был среди свидетелей церемонии.

Говорят, что Анна в то время была хорошенькой, свеженькой девушкой с замечательной осанкой, несмотря на то, что одна нога была немного короче другой. Карл VIII, с другой стороны, едва ли мог быть уродливее. Его голова была слишком большой для его тела, глаза выпуклые и невыразительные, губы дряблые. В его летаргическом облике не было ничего, что могло бы

обезоружить угрюмую Энн, и во время их первой пронзительной встречи можно с уверенностью сказать, что она не сделала ничего, чтобы облегчить вежливые извинения, пробормотанные встревоженным любовником. Но манеры Чарльза были сама мягкость и простота. Даже Комминес, считавший его беспомощным и инфантильным, говорит об этом: “Ни один мужчина никогда не был более мягким и любезным в речи. По правде говоря, я думаю, что он никогда в жизни не сказал ничего, что могло бы кого-то обидеть; маленького роста и плохо сложенный, но такой хороший, лучшего создания невозможно было бы найти”.

После заключения брака Анна и ее муж отправились в триумфальное путешествие по Бретани. Брак был жестокой необходимостью, и, несмотря на всю свою решимость, четырнадцатилетняя девочка была в нем всего лишь орудием в руках мужчин и женщин, которые называли себя ее подданными. Но, женившись, Чарльз проявил предельную тактичность. В “Истории герцогов Бретани” мы читаем: “Король, так сказать, против своей воли ставший ее мужем, не упустил ничего, что могло бы смягчить несчастье, причиненное ей их браком, ведя себя так хорошо, что в конце концов она была вполне довольна своей новой жизнью и испытывала к этому принцу величайшую любовь и нежность”. Но возненавидеть Чарльза, казалось бы, было невозможно. Все писатели единодушны в том, что касается мягкости его характера в личном общении.

Много известно об снаряжении Анны для ее первого путешествия в качестве замужней женщины. Ее дорожное платье было из черного бархата, отделанного зебелином, а платье для торжественных случаев - из золотистой материи, подбитой горностаем. Среди мебели также были две кровати — удобная, задрапированная черной, белой и бархатной тканью, и другая, обтянутая золотой парчой и окаймленная тяжелой черной бахромой.

Во время путешествия Анна получила бесчисленное количество свадебных подарков, а у ворот и на площадях каждого города для двух молодых людей разыгрывались спектакли. Большинство из них были мистическими пьесами, но для разнообразия было введено определенное количество фарсов. На что были похожи эти комические пьесы, можно почерпнуть из *Фарса дю Кювье*, прославившегося чуть позже. В нем рассказывается о поклеванном курицей муже, чья жена предоставила письменный список его домашних обязанностей, чтобы освежить его измученную память.

Однажды, стирая белье, его жена упала в котел. Разговор между ними - драматический момент пьесы. Я цитирую это в том виде, в каком оно приведено в интересной “Истории французской литературы” мистера Ван Лауна.

Жена (из меди). Хороший муж, спаси мне жизнь. Я уже совсем теряю сознание; дай мне ненадолго свою руку.

Жакме. Его нет в моем списке

Жена. Увы! о, кто услышит меня? Смерть придет и заберет меня.

Жак. (зачитывает свой список). “Печь, ухаживать за духовкой, мыть, просеивать, готовить”.

Жена. Моя кровь уже сильно изменилась. Я при смерти.

Лас. (продолжая читать). “Натирать, чинить, поддерживать блеск кухонной утвари ...”

Жена. Быстро приди мне на помощь.

Жак. “Приходить, уходить, суетиться, бегать...”

Жена. Я никогда не переживу этот день.

Иак. “Испечь хлеб, растопить духовку...”

Жена. Ах, твоя рука; Я приближаюсь к своему последнему моменту.

Иак. “Чтобы отвезти зерно на мельницу...”

Жена. Ты хуже мастифа.

Жак. “Заправлять постель пораньше утром...”

Жена. О, ты думаешь, это шутка.

Жак. - А потом поставить котелок на огонь...

Жена. О, где моя мать, Жаккетта?

Жак. - И чтобы на кухне было чисто....

Жена. Пойди и приведи священника.

Лас. Моя статья закончена, но я говорю вам без лишних слов, что ее нет в моем списке.

В конце концов, вырвав у нее обещание подчиняться, он помог ей выбраться. Фарс завершился радостным шепотом: “Значит, в будущем я буду хозяином, поскольку моя жена позволяет это”.

Но великим днем юности Анны был день ее коронации во Франции. Ни одна игрушка не была так дорога ее сердцу, как корона, и никто не мог бы почувствовать себя более невыразимо гордым и великим, когда перед огромной толпой знати и народа ее короновали в церкви Сен-Дени. На ней было платье из белоснежного атласа, а волосы — длинные и красивые — были заплетены в две большие косы, рассыпанные по плечам. Сен-Желе де Монлюк сказал о ней в то время: “На нее было приятно смотреть, потому что она была молода, хороша собой и настолько полна очарования, что наблюдать за ней было одно удовольствие”.

Затем последовала неизбежная реакция, когда пришлось столкнуться с обычной рутинной существования. Положение Энн, когда закончились гламурные дни публичных приемов, выявило бесчисленные недостатки. Она была маленькой девочкой в незнакомой стране, окруженной людьми, не желающими отказываться ни от власти, ни от превосходства. Анна Божеская, бывшая регентша — суровая, деловитая, властная - была первой силой, с которой Анна столкнулась. Мелкие вопросы о старшинстве разжигали страсти обоих. Старшая Анна любила власть так же сильно, как и младшая, и была женщиной, которой мало кто хотел бросать вызов. Но юная невеста была немного смоделирована по тому же образцу; она также обладала неукротимыми качествами и не собиралась просто так становиться королевой. Регентша — ее удивление, должно быть, было ошеломляющим — обнаружила, что потерпела поражение. Разумная и гордая, она удалилась до того, как произошло какое-либо явное неблаговидие, и предоставила двум молодым людям самим управлять королевством.

Но период семейной жизни между Чарльзом и Анной продолжался недолго. Было немного занятий любовью, немного украшения дома, а затем произошло знаменательное первое вторжение в Италию. Комминес, проницательный и прямолинейный наблюдатель, много говорит об этой итальянской кампании, в которой он участвовал. И он, и итальянский историк Гвиччардини с явным презрением относятся к бесхозяйственности Карла, в то время как

Комминес заходит так далеко, что практически заявляет, что только милость Божья удержала армию от уничтожения.

Пока Чарльз был в отъезде, время для Анны тянулось томительно. Незадолго до ухода мужа, когда ей едва исполнилось пятнадцать лет, она родила своего первенца, столь необходимого сына и наследника. Но чтобы сделать дни еще более пустыми и нескончаемыми, ребенка забрали у нее в начале военных действий. В целях безопасности он оставался в замке Амбуаз под усиленной охраной сотни шотландских гвардейцев. Фактически, его охраняли так тщательно, что, когда один из его крестных отцов, Франсуа де Поль, приехал навестить его, ему разрешили взять с собой только еще одного священника — человека, родившегося во Франции и никогда не бывавшего в Неаполе. К сожалению, никакие охранники не смогли бы спасти жизнь столь слабой матери, как у этого ребенка. Почти сразу после того, как Чарльз вернулся из Италии, маленькое создание заболело и трагически внезапно скончалось.

Говорят, что до этого и после благополучного прибытия ее мужа у Энн было беспрецедентно беззаботное сердце. Существовать месяцами, как она это делала, час за часом ожидая прибытия "дейли курьер", означало в конце концов лишиться всех чувств, кроме мучительного ожидания. Смерть Чарльза не только сделала бы ее вдовой, но и отняла бы у нее ее драгоценную корону. То, что они снова были в безопасности ослабило даже столь ценимые Анной приличия. Но смерть дофина резко выбила из нее вновь возникшую веселость. Она страстно горевала, сбита с толку тем, что Бог сотворил с ней такую необъяснимую и горькую вещь. Насколько яростно она восстала, показывает следующий случай. Ее друг детских лет, Людовик, герцог Орлеанский, теперь снова был наследником престола. В траурном зале он показался Анне излишне беспечным и жизнерадостным, и тотчас же ее израненное сердце возмутилось и возненавидело его. Коммин, который упоминает это обстоятельство, говорит, что "долгое время после этого они не разговаривали". На самом деле Анна настояла на его удалении из придворного круга. Людовик удалился в свой собственный дом в Блуа, где вернулся к увлечениям своего отца, наивного поэта Луи Бурбонского, чьи стихи он собирал, пока ждал, когда успокоятся нервы его старого друга.

Чарльз тем временем тешил свой дух интересами архитектуры. Он вернулся под глубоким влиянием красоты итальянских методов и привел с собой толпу итальянских художников и ремесленников.

О том, как бурная Анна поразила его утонченностью итальянских женщин, не упоминается. Женщины итальянского Возрождения сами по себе были образованными людьми. Беатриче уговаривала Карла, Изабелла Арагонская преклоняла перед ним колени, ему деликатно и неустанно льстили. Его путь в Рим был усеян грациозными дамами, все они были более совершенными, более сложными, более искусно сложенными, так сказать, чем его собственные деревенские женщины, привязанные к дому. Кроме того, Энн никогда не смогла бы стать человеком с непреодолимыми повседневными причудами. К счастью, Чарльз обладал сильными домашними инстинктами, и, отдавая должное Анне, следует отметить, что она не проявляла того безразличия к личным достоинствам, которое обычно присуще женщинам с ее практичным темпераментом. У нее было несколько утонченных пристрастий к тщеславию — она особенно любила принимать ванны и умываться в тазах, полностью отделанных золотом; а между бельем и в одежде, которую она носила, были целые косяки маленьких ароматизированных саше, ее любимыми духами были фиалки.

R Aprilis h't dies vvv.
Luna sero. xviv.

q Valsuam

vi **M** Martie egyptiaca

b Pincianu

xix c Ambrosii

viij d Helene reg.

xvi c Sixti pape.

b f Eufemie

q Perpetui

xm **A** Paulini

ii b Audberti.

c Leonis pape.

x d Viti et modeste

c Eufemie virg.

xviii f Tiburtii

viij q Maximi.



ИЗ КАЛЕНДАРЯ В “ЧАСОСЛОВ” АННЫ

В апреле, после итальянской кампании, они вдвоем находились в замке Амбуаз, где, как говорят, Карл превратился из безответственного юноши в правителя, движимого определенной нежностью к своему народу. И тут произошла трагедия. В субботу перед Пасхой кое-кто из домочадцев играл во дворе в теннис. Энн и Чарльз пошли посмотреть, как они играют, но, проходя по коридору, известному как *Галерея Аквелебак*, который вот—вот снесут, Чарльз ударился головой о низкую раму дверного проема. Несчастный случай казался тривиальным, и некоторое время он наблюдал за игроками, как будто его это не касалось; но внезапно, посреди фразы, он таинственным образом упал на землю. Уложенный на матрас, он пролежал до вечера и умер в одиннадцать часов вечера. Ему было тогда двадцать восемь, а Энн, внезапно перешедшей от безмятежных тривиальностей к высшему событию существования, было двадцать четыре.

Людовик Орлеанский стал королем Франции. Анна, съезжившись в затемненной комнате в Амбуазе, плакала часами, не переставая. Она одиноко сидела на полу и понимала бесполезность многословных утешений. Чарльз был добр к ней; будущее было полно приятных привычек. Теперь он был мертв, и не осталось никого, чьи интересы совпадали бы с ее интересами. Многие были бы беззастенчиво рады, что она была низвергнута. Та, кто вчера была королевой Франции, теперь была никем — вдовой, - чья корона, это выдающееся достояние, принадлежала жене Людовика. Правда, она все еще была герцогиней Бретани, но у нее было достаточно пагубного опыта, чтобы понимать, что вскоре они попытаются вырвать и у нее эту честь.

Никакие усилия не могли унять ее горя. Современный дворянин, писавший своей жене через четыре дня после смерти Чарльза, отметил: “Королева все еще продолжает тот же траур, и они не могут ее успокоить”. Как они могли, когда все, чего она жаждала, было вычтено из ее жизни? Целыми днями она сидела на корточках на полу в комнате с черными шторами, отчаянно сопротивляясь глупой суровости жизни. Час за часом она стонала, плакала и ломала руки. Тем не менее, несмотря на все ее растерянные жесты, ее мозг работал достаточно хорошо. Она начала писать письма на следующий день после смерти Чарльза, и как только ее наконец заставили поесть, она подписала приказ о восстановлении канцлерства Бретани. Мужество и разум остались нетронутыми, несмотря на все унижение ее поведения. Она плакала, но пока она плакала, она обдумывала практическое поведение на будущее.

В то же время нет никаких сомнений в том, что она была искренне встревожена и безутешна. Когда через несколько дней ей принесли обычное очаровательное белое платье королевских вдов, ее жалкие и безутешные мысли инстинктивно взбунтовались против его безмятежности и спокойствия. Она бы не надела его: черный был единственным оттенком, который мог соответствовать черноте ее жизни — белый вызывал у нее отвращение как равное оскорбление и насмешка. С упрямой настойчивостью к боли, которая ее мучила, она установила нежелательную моду и из-за буйной нетерпимости к боли покончила со старым красивым обычаем.

Через три дня после ее вдовства ее старый друг, новый король, позвонил, чтобы выразить соболезнования. Анна все еще роптала в своей затемненной комнате. Единственный свет, падавший на нее, исходил от двух больших свечей. Она не встала, когда подошел епископ,

чтобы предложить утешение, но, вероятно, сделала это сейчас и неохотно поклонилась мужчине, который внезапно взобрался на нее.

Манеры Людовика XII по отношению ко всем женщинам, кроме его жены, были печально известны своей почтительностью. Более того, Энн была еще очень молода, и в полумраке ее пышная копна блестящих волос не могла не выглядеть мягкой, юной и трогательно неуместной с ее горем. Они поговорили о похоронах покойного. Анна выразила пожелание, чтобы не было опущено ничего, что могло бы сделать честь его памяти. Луи немедленно ответил, что все ее желания священны, и действительно, оплатил все расходы на похороны из своего личного кошелька. Затем она заявила о своем желании надеть черное в знак траура, и Людовик снова согласился с видимым желанием пощадить ее чувства в меру своих возможностей. В мягком, неуверенном свете свечей новое эмоциональное качество вполне могло принадлежать девушке, так резко и внезапно овдовевшей. Окруженная тьмой, ее безутешная юность и жалкое желание скрыть свою молодость в еще большей темноте легко могли бы пробудить в старом поклоннике новую нежность.

Энн продолжала громко стонать в течение нескольких дней, но сомнительно, чтобы после этого визита скрытые экскурсы ее разума подверглись такой же буре, как и до него. Большинство женщин интуитивно понимают эмоции, которые испытывают мужчины в их обществе, и Анна обладала огромной проницательностью. Она прекрасно понимала Людовика XII. отчаянно желала сохранить Бретань. По условиям ее брачного соглашения, теперь он бесспорно снова принадлежал ей. Она также знала, с острым ощущением открывающихся в связи с этим возможностей, что мысль о расторжении его собственного брака стала непреодолимой потребностью его натуры. Своенравная жестокость ее поведения по отношению к нему после смерти дофина, возможно, охладила первоначальную доброту его чувств; но он и раньше находил ее очаровательной, и желание заполучить Бретань, естественно, облегчит попытки найти ее очаровательной впредь.

Нет никаких сомнений, что визит Людовика, по крайней мере в какой-то степени, смягчил депрессию; ибо чуть позже, с порывистостью, которая не позволяла Анне быть совершенно скучной женщиной, она сказала в ответ на замечание одной из своих фрейлин, что скорее, чем опуститься ниже своего мужа, она будет вдовой до конца своих дней, добавив, на одном дыхании, что, по ее мнению, она все еще может однажды стать правящей королевой Франции, если захочет этого. Один остроумный писатель того времени описал Анну точно, но доброжелательно, сказав: «Величие сердца королевы-герцогини было выше всяких похвал, и она не могла уступить ни в чем, что принадлежало ей, и не страдать от того, что она не могла полностью контролировать это».

Но ее утверждение было буквально верным. Пока она жила в строгом уединении, соблюдая траур, и писала ясные, выразительные письма в Бретань, новый король занялся отречением от дочери Людовика XI. Этот эпизод значительно унижает порядочность Анны — впоследствии большой поборницы приличий, — поскольку между вдовой в черном и новым королем состоялось еще несколько визитов, и вскоре стало очевидным, что они встретились не только для того, чтобы превознести заслуги покойного мужа. Чарльз умер в апреле, а в августе были приняты два акта, датированные одним и тем же днем. В первом Анна согласилась выйти замуж за Людовика, как только его нынешний брак будет аннулирован в Риме, а во втором Людовик

согласился вернуть герцогине два города Нант и Фужер, если из-за смерти или других препятствий он не сможет жениться на ней в течение года.

Добиться развода было несложно. Александру требовалась помощь Франции для возвышения Цезаря Борджиа, и он лично отправил его с Буллой Людовику. Затем трибунал, состоящий из кардинала, двух епископов и других мелких сановников, рассмотрел это дело и призвал королеву явиться лично. И она, и совет знали, что расследование было унижительным и безжалостным фарсом. Тем не менее, ради проформы, бесконечные вопросы задавались женщине, которая была одновременно и такой уродливой, и такой красивой. Они расспрашивали ее о ее отце, Людовике XI, настаивая на принудительном разоблачении. Чувствительную и тонко уравновешенную сдержанность Жанны нельзя было поколебать настойчивостью. “Я не знаю об этом” или “Я так не думаю”, - вот и все, что сорвалось с ее губ. Она придавала даже огорчению немного прелести благодаря тишине, в которой скрывала его. На самом деле, воспоминания о Луи, должно быть, были очень болезненными. Потому что, как и ее муж, он неослабно ненавидел ее. В детстве у ее наставника даже была привычка прятать ее в своей мантии для безопасности, если Луи случайно встречал их в коридоре.

От семейных разногласий суд перешел к вопросу о ее браке. Без обиняков они сообщили женщине-мученице, что она была уродом. “Я знаю, что я не так хороша собой, как большинство женщин”, - был ответ, в котором, казалось, за его жалобностью скрывались слезы всей жизни. Они также настаивали на том, что она не подходит для брака. Затем в ее терпеливом духе, кажется, на мгновение затрепетала немного страдальческой человечности. “Я не думаю, что это так. Я думаю, что я так же подхожу для замужества, как жена моего жениха Джорджа, который довольно уродлив, но все же подарил ему прекрасных детей”. Но все это время и она, и те, кто задавал ей вопросы, с совершенной ясностью знали, что ни вопросы, ни ответы не могут повлиять на конечный результат. Они были всего лишь подлой и вульгарной формой, использованной для того, чтобы ослепить суждения людей. Людовик XII. отрицал, что их союз когда-либо выходил за рамки брачной церемонии. Жанна снова прибегла к серьезным словам, ничего не выражающим. “Я не хочу, - ответила она, - никого другого судить, кроме самого короля. Если он поклянется под присягой, что факты, выдвинутые против меня, соответствуют действительности, я соглашаюсь на осуждение”.

Это дало все, что им было нужно, и брак был признан недействительным. В последний раз Жанна и Луи прошли через дискомфорт, связанный с интервью, и в кои-то веки, и только в кои-то веки совершенное самосожжение Жанны вызвало слезы у ее мужа. Затем она ушла из его существования и стала той, кем всегда хотела быть, - монахиней. В одной из проповедей, произнесенных в годовщину ее смерти, о ней было сказано: “Она была такой некрасивой, что муж отверг ее; она была такой красивой, что стала невестой Иисуса Христа”.

Затем Анна и Людовик были избавлены от всех препятствий, и через год после смерти Карла обвенчались в кафедральном соборе Нанта. Составленное брачное соглашение было полностью выгодно Анне. Несомненно, Луи любил ее. В свое время он увлекался разными женщинами, поскольку был мужчиной, который, как любезно выразился один писатель, “не брезговал дамским времяпрепровождением”. Но после многих любовных походов и большого познания женских тонкостей он, наконец, поддался очарованию женщины, лишенной каких бы то ни было тонкостей.



СТОЯЩАЯ На КОЛЕНЯХ АННА ИЗ “ЧАСОСЛОВ”

Это влечение трудно объяснить. Возможно, Анна удерживала его благодаря его семейным пристрастиям и своей собственной неукротимой силе характера. Монотонность эпизодов преступной любви, возможно, придавала спокойную респектабельность умиротворяющему изыскачеству; Луи знал наизусть все язвительные пороки, присущие женщинам, которые не являются добродетельными, и, вероятно, поэтому придавал особое значение той, которая обладала, по крайней мере, непоколебимой и прозрачной чистотой. Насколько ему импонировала добродетель в женщине, когда она не была Жанной, видно из замечания, сделанного несколько лет спустя. Оно относилось к агрессивности Анны. Кто-то пожаловался на это Луи. Его ответ не принес утешения, но выразил определенное настроение. Он просто заметил: “Добродетельной женщине многое нужно прощать”.

Привязанность Анны к Людовику более понятна. Он был необычайно привлекателен, хотя почти так же уродлив, как и сам Чарльз. У него был низкий лоб, выпуклые задумчивые глаза, чувственный, нежный рот, высокие скулы и дряблая кожа. Это было лицо человека, которому нравилась жизнь такой, какая она есть, и люди такими, какие они есть; в нем не было стремления к иллюзиям какого бы то ни было рода. В его натуре были все сочувствующие слабости, и выражение его лица выражало легкую терпимость натуры, которая, по крайней мере, использовала опыт как школу понимания. Венецианский посол однажды назвал его “дитя природы”, и он был по сути естествен, с почти детской доверчивостью, не столько в манерах, сколько во взглядах. Он правил — если не считать его прискорбной страсти завладеть кусочком Италии — как человек, озабоченный счастьем своих детей. Народ обожал его. Если требовалось собрать деньги, он шел на личные жертвы, а не обременял бедных дополнительными налогами, в то время как его внутренняя политика неизменно была гуманной и разумной. Историки редко отдают ему должное. Поскольку он не проявил себя великим дипломатом, они игнорируют его восхитительную индивидуальность. Что касается Италии, то он был откровенно глуп; но тогда Италия олицетворяла романтику жизни — приключение, которое вытягивало обыденность из существования. Даже специальная проницательность могла легко оступиться в хитроумных сложностях международной политики в тот кризисный период, и Людовик отправился в Италию не из соображений политики, а буквально потому, что не мог удержаться от этого.

Хотя в личной жизни его интересы были в основном интеллектуальными, в нем всегда чувствовался определенный налет сердечности и приземленности. Говорят, что от “дамского времяпрепровождения” он полностью отказался после своего второго брака, но хорошие обеды и хорошее вино он любил до конца жизни. Когда Фердинанду Арагонскому сообщили, что Людовик жаловался на то, что он дважды обманул его, он ликуяще воскликнул: “Он лжет, *пьяница*; я обманывал его более десяти раз”.

Анна была его противоположностью. К сожалению, у нее не было маленьких слабостей, и она никого не прощала. Когда Людовик вззошел на трон, он заметил: “Королю Франции не пристало мстить за обиды герцога Орлеанского”. Но если кто-нибудь причинял Энн боль, она не могла успокоиться до тех пор, пока обидчику не причиняли еще большую боль. Став взрослой женщиной и выйдя замуж за Луи, она была, за исключением ведения домашнего хозяйства, почти полной неудачницей. У нее могли быть более вопиющие пороки, и она вызывала

сочувствие. Но она была в высшей степени респектабельной, набожной, окруженной строгими правилами поведения. И все это время в ней процветал один из самых разъедающих душу грехов, который оскорблял потомство. Мстительность Энн подобна язве, разрушающей изящество ее женственности.

К счастью, она была щедрой, а щедрость - прекрасное искупление многих пороков. Она любила дарить подарки. После своего второго замужества она содержала галерею, полную украшений и драгоценных камней, которые время от времени дарила “женам капитанов или другим лицам, отличившимся на войнах или верно служившим ее мужу Людовику”. Кроме того, она никогда не отрицала трагический крик бедняков. Мезераи писал: “Вы видели тысячи бедняков, ожидающих ее подавания всякий раз, когда она покидала дворец”.

О личной жизни Анны и Луи известно необычно много. Они вставали в шесть летом и в семь зимой. Они поужинали в восемь или девять утра. В два часа они взяли с собой легкие закуски. К пяти или шести был подан ужин, а в восемь или девять часов они отправились спать, выпив по бокалу вина и съев несколько пряных пирожных. Для них можно было бы написать старую рифму того времени —

- Вставать в пять и ужинать в девять,

Ужинай в пять, а ложись спать в девять,

Сохраняет человеку жизнь до девяноста девяти лет.

Большую часть дня Людовик провел, занятый государственными делами. Чтобы быстрее осознать серьезность усилий правителя, он отрывочно, но постоянно читал “Трактат о обязанностях” Цицерона; он был для него как источник бодрящих вод. Когда ему больше нечем было заняться, он занимался любовью со своей “Бретоннкой” — так для интимного употребления он называл Анну. Она не могла пробудить поэтических фантазий, но она соответствовала его натуре. Семейственность и надежность у домашнего очага были выражены ею.

Тем временем Анна управляла своим домашним хозяйством на манер строгой школьной учительницы. Как и все лишенные воображения люди, она чуралась любой формы своеволия, и никому не разрешалось приближаться к ней. О ее дворе стали говорить как о школе хорошего поведения для девочек из высших классов. То ли потому, что она взяла так много гостей, то ли нет, но кровати в комнатах фрейлин были шесть футов в длину и шесть футов в ширину, так что несколько девушек спали в одной кровати - небольшой ряд голов на одной длинной подушке. Фрейлинам не разрешалось обращаться к мужчине, кроме как в присутствии присутствующих в комнате. Когда король отправлялся на охоту, Анна сидела в окружении запуганных дам, все они степенно работали над огромными кусками гобелена.

Даже их развлечения должны были носить трезвый и осторожный характер. Сообщается, что Франсуаза Д'Алансон, невестка Маргариты Д'Ангулем, сохранила традиции двора Анны, и следующая цитата представляет собой описание того, как велось ее домашнее хозяйство. Она велела всем своим дамам тоже войти в комнату и, осмотрев их одну за другой, отозвала назад

всех, чья осанка показалась ей плебейской или нарушающей приличия. Она ругала всех, кто одевался не так, как следовало. Затем она проверила работу каждого и, если была какая-то ошибка, исправила ее, а если небольшой прогресс свидетельствовал о небрежности и лени, довольно резко отругала работника. Что касается их морали, она не позволяла никому из них вести какие-либо разговоры наедине с каким-либо мужчиной и не терпела при них никаких разговоров, которые были бы не совсем пристойными и благородными.... Что касается их развлечений и празднеств, эта благоразумная принцесса не следила за ними так строго, но им разрешалось гулять и играть в садах или в каком-нибудь почтенном доме; или чтобы они "*балассентировали*" или играли на гитаре, *эспинетках* или на других музыкальных инструментах, рекомендованных знатью и другими благородными умами; или чтобы они скромно и благочестиво пели в своей комнате, что она часто заставляла их исполнять в ее присутствии, и когда она сама присоединялась к ним. Но она никогда не позволяла им петь других песен, кроме Псалмов Давида или песен покойной королевы Наварры. Не меньше она сделала и для их литературы, поскольку сама читала только Священные Писания или какую-нибудь историческую биографию, в которой не содержалось ложных доктрин, поэтому она не позволяла своим дамам читать ничего другого”.

С незначительными изменениями картина так же точно передает методы управления Анны, как и методы непреклонной Франсуазы Д'Алансон. Возможно, из них двоих самообладание Анны позволяло большей яркости пробиваться сквозь ее суровость. При дворе время от времени устраивались танцы, а также поездки из одного города в другой. Но не судьбе Анны было удобно держать под рукой кого-либо из своих мужей. Хотя Людовик любил и свою жену, и свой народ, тяга к приключениям выходила за рамки его семейной жизни. Еще до того, как Энн родила их первенца, он уже отправился бороться за кусочек страны, которая постоянно вызывала у него ненормальные и необъяснимые желания.

Во время первой экспедиции Людовико Сфорца был взят в плен. От одного поведения Людовика кровь стынет в жилах. Он привез Иль Моро во Францию и заточил его под землей в замке Лох, а для большей безопасности каждую ночь помещал в железную клетку. В течение десяти лет Людовико терпел этот крайний предел умственных и физических лишений, его великолепное телосложение отказывалось признавать скорую Смерть. Но даже на таком расстоянии во времени невозможно без горечи думать об уничтожающей агонии такого заключения.

Пока Луи был в Италии, Анна писала ему ежедневно. Небольшое письмо от нее, доказывающее, что Луи был нежен и влюблен, все еще существует. Оно начиналось так: “Любящая и горячо любимая жена пишет своему мужу, еще более любимому, объекту ее сожалений и гордости, движимому желанием славы вдали от собственной страны. Для нее, бедной *аманте*, каждое мгновение полно ужасов. Быть отнятой у принца, который скорее любовник, чем муж, - какая это ужасная мука!” Слова “больше любовник, чем муж” раскрывают практику постоянного незначительного и милого внимания.

На миниатюрной картине того периода изображена Анна, пишущая одно из таких ежедневных писем. Она сидит в своей спальне, которая, очевидно, использовалась и как гостиная. Ее черное платье волочится по полу, но ее стол и сиденье совершенно неприязнательны. Вокруг нее на земле сидят ее фрейлины, чрезвычайно послушные и трудолюбивые. Помимо того, что они были дисциплинированы во внешней кротости, они, казалось бы, были вынуждены надеть

придворную форму, поскольку на всех картинах они одеты абсолютно одинаково. Чернильница и перо Энн - золотые, а рядом удобно лежит маленький носовой платочек, чтобы вытирать приличествующие случаю слезы, которые должны застилать ей глаза, когда она пишет. Сзади - очаровательная кровать с балдахином, богатая и сияющая, с роскошными золотыми драпировками.

Когда Людовик вернулся во Францию, общество проявило свое нетерпеливое легкомыслие в серии организованных празднеств. Но для Анны жизнь уже начинала означать беспокойство. У Луизы де Савойи был сын Франциск, и если бы Анна не родила еще одного ребенка позже, этот ребенок стал бы наследником французского престола. Две женщины ненавидели друг друга почти с одинаковой мучительной силой; несомненно, с этого времени Луиза нарушила мирное существование Анны. Даже без пронзительной личности Франциска, герцога Ангулемского, некоторые трения все равно были бы неизбежны. Анна придерживалась трезвых и непоколебимых, хотя и не вдохновляющих правил приличия; в поведении Луизы де Савойи не было ни морали, ни сдержанности, ни каких-либо деликатных предрассудков вообще. Ее мозг изобиловал сложностями, преувеличениями и превосходными степенями. Она смотрела на все сквозь фальшивое возбуждение, в то время как плести ложь было для нее на одну ступень комфортнее, чем говорить правду. Во внешности преимущества также были на ее стороне, и, обладая интуитивным даром понимать худших из мужчин, ее общество было опасно лестным и легким для них.

Анна вздрогнула как от поведения собеседника, так и от того, что у нее есть наследник французского престола. Флеранж, хорошо знавшая Анну, сказала, что не проходило и часа, чтобы эти два дома не ссорились. С годами у обеих женщин появилось постоянное пронзительное предчувствие, которое убивало всякую жизнерадостность чувств. В случае с Энн страдания были гораздо острее и жалостливее. Снова и снова она трепетала в ожидании материнства, и после девяти изнурительных месяцев, когда для обеих женщин ожидание стало почти невыносимым, девочка или мальчик, родившиеся мертвыми, лишили Энн жизненных сил.

После рождения Клода беспокойство усилилось. Почти сразу же возник вопрос о браке между девушкой и Франциском. Годами, со всей страстной яростью своей натуры, Анна боролась за то, чтобы помешать этому триумфу своего противника и выдать ребенка замуж за другого мужа. В 1501 году временная победа расширила ее сердце. Ребенок был обещан герцогу Люксембургскому, впоследствии Карлу V., сыну эрцгерцога австрийского Филиппа. Эта помолвка продолжалась несколько лет. Тогда Людовик понял, что вероятность того, что у него родится сын, стала очень мала и что при таких условиях брак с австрийкой был бы в последней степени невежливым. По какой-то неустановленной причине в этот период они с Энн серьезно нарушили нежность. Его отношение к вопросу о женитьбе Клода, возможно, привело ее в отчаянную ярость. Отдать маленькую некрасивую девочку, которой она восхищалась, сыну женщины, которую она ненавидела, было нелегко — слишком тяжело для сердца, и без того сжатого бесполезными желаниями. Луи встретил ее напряженное упрямство с неумолимой решительностью. Он знал, что пульс нации бьется для молодого Д'Ангюлема, который был “полностью французом”, и его собственное мнение можно выразить одной фразой — “он предпочитал женить своих мышей на крысах из собственного сарая”.

Между женатыми любовниками, которые когда-то испытывали такую теплоту в присутствии друг друга, возник холодный, разрушительный разлад. Людовик, выведенный из равновесия, даже начал пренебрежительно относиться к гордой и страдающей женщине, борющейся против его желаний. Во время одной из повторяющихся дискуссий на ту же тему он сообщил ей, что “при сотворении мира рога были даны как самке, так и оленю, но у самки, отважившейся использовать эти средства защиты против своего партнера, их отобрали”. Если бы он выпорол Энн, чувство жгучего унижения вряд ли могло быть острее. Ибо ни одна женщина не держалась при свидетелях с таким непреклонным достоинством, и это замечание не осталось незамеченным для слушателей.

В 1505 году Анна, взволнованная, с болью в сердце, избитая и обескураженная, отправилась в Бретань. Действительная причина ее отъезда не называется, но, уехав, она осталась там и более того, перестала писать ежедневные письма “своему любящему и возлюбленному”. Внешне она была счастлива— устраивала пышные приемы и совершала интересные путешествия из одного города в другой. Очевидно, что в разлуке с ней отдыхало сердце. Дом стал местом пронзительной горечи, раздирающего и изматывающего антагонизма. В жизненно важном вопросе они с Луи шли разными путями. Здесь, в Бретани, трения и печаль немного утикли. Ее нервы отдыхали, а сердце время от времени забывалось.



ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ ИЗ “ЧАСОСЛОВ” АННЫ

То, что она вздрогнула от возвращения, как от возобновления невыносимой провокации, ни с чем не спутаешь. В сентябре 1505 года она была в Ренне; и пока она была там, друг Людовика, кардинал Д'Амбуаз, после смерти которого папа Юлий II. “слава Богу, что теперь он был папой один”, — написала она с намеком на рассеянность по поводу серьезности своего длительного отсутствия во Франции. Он сказал: “Король послал за мной сегодня днем, мадам. Я никогда не видел его таким расстроенным, как я понял со слов Гаспара, с которым он разговаривал в моем присутствии”. Письмо заканчивалось настоятельным призывом к ней вернуться и “таким образом удовлетворить короля, а также помешать незнакомым людям сплетничать”.

Четыре дня спустя он снова написал: “Хотя я чрезвычайно рад вашим заверениям в том, что приложу все возможные усилия для скорейшего возвращения ко двору, я глубоко огорчен тем, что вы не называете никакой даты. Я не знаю, что ответить королю, который находится в величайшем замешательстве.... Молю Бога, чтобы я был с вами.... Я могу только сказать, что всем сердцем скорблю о том, что вы с королем больше не говорите откровенно друг с другом.” Она все еще медлила, как человек, купающий уставшие конечности в теплой и успокаивающей воде. Амбуаз, видя приближение постоянного отчуждения, снова написал: “Ради Бога, не впадайте, вы и король, в эти настроения взаимного недоверия, ибо, если это продлится долго, ни доверие, ни любовь не смогут устоять, не говоря уже о вреде, который может из этого выйти, и презрении всего христианского мира”.

В конце концов Анна собрала всю свою усталую храбрость и вернулась. Более того, оказавшись снова вместе, они с Людовиком, должно быть, поддались более нежным чувствам, поскольку впоследствии у них родились двое детей. Но с этого времени и до конца Энн больше никогда не чувствовала, как на нее по-настоящему изливается сияние жизни — холодное одиночество лишало способности получать удовольствие. Как только Луи сменил любовницу на мужа, у них не осталось душевной близости, на которую можно было бы опереться. Они мало на что смотрели с одинаковыми эмоциями, а для успешного брака это первостепенная необходимость. Анна была интуитивно религиозна, а Людовик был отлучен от церкви — без видимых помех — за свои подвиги во время второй итальянской кампании. Чтобы усилить заметное различие между их взглядами, Бретань была исключена из-под отлучения от церкви.

Все для Энн немного вышло из—под контроля - стало немного обидным и враждебным. Клод был хромым и некрасивым — красавцев сына и дочь Луизы все обожали.

Более того, ее принуждали и пренебрегали ею; при всей ее чрезмерной статности мужчины знали ее как униженную и избитую женщину. Перед тем как Людовик отправился в третий итальянский поход, была подтверждена помолвка Клода с Франциском. Депутаты из разных департаментов посетили Луи в Плесси-ле-Тур. Они называли его “Отцом своего народа”, а затем на коленях умоляли его “отдать мадам, вашу единственную дочь, присутствующему здесь месье Франсуа, который является настоящим французом”. И Людовик, и стоящие на коленях депутаты пролили слезы, но, хотя мимоходом их охватило сентиментальное волнение, сцена, по сути, была организованной драмой, разыгранной для того, чтобы выбить последнюю возможную почву для сопротивления из-под ног Анны. Два дня спустя одиннадцатилетний Фрэнсис и шестилетний Клод были официально обещаны друг другу.

В жизни Анны есть еще один выдающийся случай — ее ожесточенная борьба с великим маршалом де Ги. Ее назвали непростительным пятном на ее репутации. История, безусловно, оставляет ее неприкрыто грубой, яростно стихийной, но, по крайней мере, в этом случае вопиющая провокация привела ее в ярость. Луи заболел. Он слишком грубо наслаждался своей юностью и спустя годы жестоко расплатился за отсутствие более утонченных желаний. Энн ухаживала за ним с нежностью, быстро преодолеваемой страхом. “Она весь день не выходила из его комнаты и делала все, что могла сама”. Но Луису не становилось лучше. С каждым днем он приближался к цели; его врачи не видели даже возможности возвращения. Тогда Анна, устало сидя у постели больного, несомненно, подумала о практических вещах. Она вспомнила Луизу и их взаимную ненависть. Историки выражают отвращение к тому, что последовало за этим, но на самом деле нет ничего, вызывающего глубокое отвращение. Мозг во времена напряжения, чрезмерного возбуждения подвергается нападению множества противоречивых и банальных воспоминаний. Энн, одновременно настороженная и нервничающая, посмотрела на тонущего пациента и вспомнила о ценной мебели, драгоценностях и посуде, обладание которыми могло быть оспорено позже. Если бы она была женщиной с глубокими чувствами, это знание в равной степени могло бы вспыхнуть в ее искрометном уме, но оставило бы его горько равнодушным. Энн не была обуреваема непреодолимыми чувствами, и ее преобладающий здравый смысл понимал, что после смерти этого человека ей еще предстоит организовать будущее. Не ослабляя ни на минуту заботы о себе, она быстро отдавала распоряжения по хозяйству, пока все вещи, указанные в брачном контракте как принадлежащие ей, не были отправлены кораблем в Бретань.

Джи давным-давно поставил свои интересы на сторону власти, которой следовало следовать. Узнав о планах королевы, он остановил ее суда, категорически отказываясь позволить им покинуть страну.

В этом поступке была определенная безрассудная отвага; но Людовик, как все понимали, мог прожить не более нескольких часов, и новый король знал, как вознаградить такую напряженную ловкость в своих интересах. Но в этом вопросе Джи не повезло.

Людовик внезапно — и, по-видимому, необоснованно — отказался от мысли о смерти. После сильного обморока он быстро оправился и сразу же после этого изгнал Гие со двора. В истории есть небольшие вариации — в одном рассказе Анна также пыталась перевезти Клода в Бретань, — но приведенный выше рассказ представлен наибольшим числом.

Некоторое время Джи, к счастью, оставался в своем великолепном загородном доме, цепляясь за тот факт, что наказание вполне соответствовало его инстинктам. Но сердце Энн было слишком примитивным для банального возмездия. Мезераи не зря сказал: “Она была ужасна по отношению к тем, кто ее оскорблял”. Вскоре Джи получил повестку для ответа по обвинению *воскорблении величества* и казнокрадстве, был арестован и после бесстыдного жестокого обращения был признан виновным с лишением всех почестей и пятилетним изгнанием из суда. Самая уродливая часть истории, в которой с самого начала все вели себя с довольно неблагородной пронизательностью, — это сообщение о том, что Анна открыто заявила, что не желала смерти маршалу, поскольку смерть давала облегчение от страданий, и ей было неприятно, что он жил и испытывал все страдания от того, что был низок, когда он был высок; другими словами, что она жаждала долгого и мучительного срока, чтобы он был в замешательстве.

После рождения еще одной дочери — малютки Рене, впоследствии ставшей герцогиней Феррарской, — последний осколок счастья Анны умер в ней. Жан Маро, отец знаменитого Клемана Маро, упоминал о ней в некоторых стихах с исключительным реализмом и пониманием. Он писал —

“В это время находился в Лионе

Беспокойная королева. Вечно в горе

За сожаления ее усталого сердца

Надоедает непрестанно”.

По правде говоря, она до смерти устала от сложного жизненного труда. Мысли о самодовольной, беспринципной, лживой Луизе де Савойя, чей сын был наследником французского престола, бурлили в ее крови и мешали ее сердцу биться спокойнее. С момента рождения Рене она поддалась неоспоримой слабости. Хотя вскоре после этого она *снова* заболела, надежда почти не трепетала, а ее физическое состояние свидетельствовало о том, что уму было не до спасительного оптимизма. Она уже родила троих сыновей, ни один из которых не выжил, и во всем доме признавали, что ей не повезло в материнстве.

В 1512 году кто-то написал: “Королева испытывает сильную боль, и ее ребенок ожидается в конце этого месяца или в начале следующего. Но здесь нет той суеты и ажиотажа, которые были вызваны другими ”.

Ребенок родился, но торжествующая Луиза с циничной жизнерадостностью записывает это событие в свой дневник: “... Его рождение не помешает возвышению моего цезаря, ибо младенец родился мертвым”.

Анна, измученная и убитая горем, лежащая на своей второй лучшей кровати, которую всегда использовали в качестве *постельного белья*, наконец становится совершенно трогательной. К этому времени она была окончательно и бесповоротно избита. Ребенок был сыном, но был мертв. “После этого она ни от чего не получала удовольствия”, - сказал Д'Аржантре, в то время как она оставалась настолько больной, что большую часть времени ей приходилось оставаться в постели. Людовик, вернувшийся после новых бедствий в Италии, нашел ее там по возвращении. Вскоре после этого — 9 февраля 1514 года — она умерла.

Луи сильно опечалился. Разгорающийся жар последних ссор сжег много первоначальной нежности, но заявление де Сейсселя о том, что Людовик “любил ее так, что вкладывал в нее все свое удовольствие”, было приблизительной интерпретацией их положения, пока жизненные противоречия не заострили языки обоих.

Анне устроили роскошные похороны. Приготовления к ним, если бы она знала о них, доставили бы ей огромное удовольствие. Шесть дней она лежала в своей комнате и непрестанно молилась. Затем ее поместили на *Парадную аллею* и накрыли покрывалом из золотой ткани, отороченным горностаем, мех которого изображен на гербе Бретани. Она лежала под этим

одеянием в белых перчатках на руках и с короной на голове; ее платье было из пурпурного бархата, а по бокам лежали подушки со Скипетром и Рукой Правосудия.

После похорон Людовик отправил ее сердце в золотой шкатулке для погребения в Бретани. На шкатулке было написано—

- В этом маленьком сосуде

Из чистого золота

Покоится величайшее сердце

Любой женщины в мире.

Но на самом деле единственным большим недостатком Энн было то, что у нее не хватало мужества. Ее присутствие не вызывало ни нежности, ни смеха, ее общество не воодушевляло и не утешало. И следствием этого было то, что ни по кому нельзя было скучать меньше. В целом она была хорошей женщиной; за исключением периодов буйного нрава, она старалась жить добросовестно и разумно. Только у нее не было глубоких симпатий; следовательно, когда она умерла, то умерла немедленно. Именно люди, которые постоянно воспаляются нуждами других, годами живут в сердцах тех, к кому они проникли.

LUCREZIA BORGIA

1480-1519

Из всех знаменитых женщин эпохи Возрождения Лукреция Борджиа в каком-то смысле, хотя и только в одном, вызывает наибольшее разочарование. Существует множество книг, посвященных ее личности, но мало реальной информации. Немногие личные друзья раскрывают о себе больше, чем Маргарет Д'Ангулем, Анна Бретонская или Беатриче Д'Эсте. То, что в них уклончиво, приятно уклончиво, поскольку каждая женщина должна сохранять то небольшое, что необъяснимо. Но Лукреция Борджиа вообще уклоняется. От начала и до конца нет ничего, за что можно было бы ухватиться. Все факты ее жизни можно установить, но ни слова о темпераменте, который в определенной степени дал им жизнь. События первой половины ее существования пропитаны злом, но зло это настолько запутанное и экстраординарное, так мало соотносящееся со второй половиной ее существования и во многих случаях настолько сомнительное, что оно едва ли привязано к ней. В конце концов она выходит с таким присущим ей спокойствием, с такой лучезарной мягкостью, что вся история ее римских дней приобретает вид не только неприменимой, но и экстраординарной. Действия того раннего периода, похоже, цепляются за нее немногим больше, чем бессознательные действия лунатика.

Чтобы раз и навсегда развеять любые предвзятые предрассудки, необходимо всего лишь взглянуть на предполагаемый портрет ее в образе Святой Екатерины, написанный Пинторриккио. В этом она очаровательна. Поверить в абсолютную низость существа с таким выражением лица невозможно. Глядя на это, видим ли мы что-нибудь, кроме ребенка, почти взрослого по годам, но с маленьким мозгом, абсолютно затуманенным и неразумным? Изысканно жалобная и беспомощная, фигура кажется, несомненно, как будто ее молодость вызвала неизвестно к чему. Создание - само очарование, слабость и изящество. Стоя с тонкими руками в бесполезной позе, выражение ее лица кажется лишенным какого-либо жизненно важного понимания, но вместо этого передает саму суть сладости и зависимости, возможных для женственности. Маленький ротик слабый, но располагающий к себе, маленький подбородок слабый, но нежный. Все лицо, обрамленное распущенными и летучими волосами, излучает нежную, детскую пассивность. Только в глазах таится неосознанная тоска, как будто они знали или предчувствовали, что будут вовлечены во многие трагические размышления. Зла нет нигде — нет *parti pris*, фактически, никакого рода. Легкое недоумение - это, пожалуй, самое сильное производимое впечатление.

Другое ее изображение, выгравированное на медали и бесспорно известное как портрет, не столь привлекательно. Но ни одно женское очарование не могло быть передано в нескольких четких линиях профиля, нанесенного на медаль. Нет никакой возможности передать нечто большее, чем подчеркнутые очертания носа, подбородка и лба. В медали видна главная черта Лукреции - ее веселость, здесь почти дерзкая.



ВЕРОЯТНЫЙ ПОРТРЕТ ЛУКРЕЦИИ В "СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЕ И СТАРЕЙШИНАХ"
РАБОТЫ ПИНТОРРИККИО

Эта способность быть постоянно веселой, которая так заметно отличала ее всю жизнь, была, пожалуй, единственным хорошим качеством, которое Александр смог передать своей дочери; но почти только благодаря этому одному качеству Лукреция наконец вырвалась — как будто это был всего лишь плащ, сброшенный на нее жестокостью других — из мрака своей первоначальной репутации. Теперь человек главным образом осознает существо, мужественно жизнерадостное; существо, постоянно желающее нравиться, передавать приятные

впечатления, сглаживать все до приятности. После тщательного и многократного прочтения различных книг о ней осталось ощущение, что на самом деле это женщина, которая необычайно хорошо понимала свое женское дело, но которая страдала от жестокого обращения в первые решающие годы своего существования. В тот момент, когда они забрали ее из нежелательного окружения, в котором она выросла, от нее не исходило ничего, кроме храброго, подобающего смеха и уютной домашней обстановки — требования Раскина о том, чтобы женщина приносила “комфорт с приятностью”. Очевидно, что у зла не было корней, которые могли бы возобновиться; в худшем случае была только природа, чрезмерно приспособляющаяся к внешним силам, и темперамент, не обладающий силой сопротивления.

Родившаяся в 1480 году, она была дочерью Александра, тогда известного как кардинал Родригес, и Ваноццы Катанери, женщины, происхождение которой неясно, но которая, безусловно, была образованной и у которой было два мужа, Джорджо ди Кроче, а позже, когда Александр обратился к кумирам помоложе, некоего Карло Канали, писателя с определенной репутацией в свое время. В младенчестве Лукреция жила со своей матерью в доме недалеко от дома кардинала. Но позже, хотя почему и когда неизвестно, ее забрали у Ваноццы и передали на попечение мадонны Адриенны, вдовы и родственницы кардинала, которая, по словам Грегоровиуса, также пользовалась “очень глубоким” доверием испанца. Атмосфера дома мадонны Адриенны не могла создать у Лукреции раннего впечатления о деликатном или обаятельном поведении — впоследствии у нее не было основы для трогательных идеалов, к которым можно было бы прибегнуть. Есть один случай, который проливает весь необходимый свет на характер опекуна Лукреции. Джулия Фарнезе была женой ее сына, и только с полного согласия свекрови девушка стала признанной любовницей Александра. Таким образом, при вопиющих обстоятельствах дела есть что-то почти оскорбительное в том факте, что Эдриенн тщательно обучила ребенка религиозным обрядам, хотя, если уж на то пошло, все они были религиозны, эти женщины нежелательного поведения. Ваноцца, например, построила часовню и считалась глубоко набожной задолго до смерти Александра.

Интеллектуальное образование Лукреции носило тот же поверхностный характер, что и ее духовное. Ренессансные идеи культуры для женщин не проникли в Рим, и ребенок прошел совсем иное обучение, чем д'Эстес, Гонзаги и многие другие. Ее главная склонность, по-видимому, была связана с языками. Баярд в 1512 году сказал о ней: “Она говорит по-испански, по-гречески, по-итальянски и по-французски, а также немного и очень правильно говорит по-латыни; она также пишет стихи на всех этих языках”. Моральное чувство, должно быть, оставалось абсолютно незапятнанным. Никто из окружения, воспитывавшего ее, не осмелился бы привить ей такое опасное и тревожащее качество. На портрете Пинторриккио нет никаких признаков живой совести, хотя, судя по выражению ее лица, она вполне могла бы с тоской искать ее, осознавая, что чего-то не хватает.

Кроме того, когда Лукреции исполнилось одиннадцать лет, к числу непристойностей, уже недоступных обычному моральному пониманию, добавилась новая. Именно тогда шестнадцатилетняя Джулия Фарнезе стала любовницей Александра. Скрывать было нечего, и Лукреция без колебаний включилась в новые приготовления. Для нее это обстоятельство носило не более противоестественный характер, чем замужество. С самого рождения девочка никогда не бывала в атмосфере обычного домашнего уюта; почти все ее товарищи по играм

были детьми других кардиналов, и, размышляя о ее жизни, следует помнить, что немногие умы легко подвергают сомнению стандарты поведения, знакомые с раннего детства.

Сама она уже была помолвлена с двумя людьми. Александр, в то время искавший в своей стране хорошую партию для своей дочери, официально пообещал ее руку испанцу. В том же году, посчитав это более выгодной сделкой, он также обручил ее с неким Доном Гаспаро; так что у ребенка фактически было два потенциальных мужа одновременно. Ни из того, ни из другого ничего не вышло. В 1492 году умер Иннокентий VII. И вместо него папой был избран Родригес Борджиа, принявший имя Александр. У него всегда были исключительно приятные манеры, но Джованни де Медичи, глядя на нового папу, тем не менее заметил себе под нос: “Теперь мы в пасти хищного волка, и если мы не убежим, он сожрет нас”. Он сожрал многих, хотя его основной политикой было повсеместное умилоствление.

Для Лукреции возведение ее отца из кардиналов в папы сразу же стало знаменательным событием. От двух ранее выбранных мужей отказались; ни один из них не был достаточно хорош для дочери папы. А в 1493 году они выдали ее замуж за Джованни Сфорца, который был независимым монархом, а также родственником могущественного Людовико Сфорца из Милана. Тогда ей было тринадцать лет, и после свадьбы ей предстояло остаться в Риме еще на год, прежде чем муж увезет ее в свои владения. Однако якобы они сразу же сделали из нее женщину. Она получила собственный дом недалеко от Ватикана, мадонна Адриенна прошла путь от гувернантки до фрейлины, и вся скука официальной светской жизни стала частью обычных обязанностей ребенка. Она должна была принимать всех важных гостей в Риме и вести себя с непринужденным достоинством знатной дамы. Альфонсо Феррарский, приехавший засвидетельствовать почтение новому папе, также должен был ухаживать за этим тринадцатилетним бастардом, на котором ему самому впоследствии предстояло жениться. На самом деле он привез ей в качестве свадебного подарка от герцога, своего отца, два больших серебряных кувшина и тазика прекрасной работы.

Достаточно любопытно, что в комментариях, сделанных по поводу брака, вообще ничего нет о самой девушке. В том возрасте у нее явно отсутствовали признаки преждевременного развития. Посол Феррарезе отпустил ее фразой, которая больше относилась к Александру, чем к новоиспеченной невесте. Он написал, что папа любил свою дочь в превосходной степени. Возможно, так оно и было: это факт, на который обращает внимание большинство биографов. Тем не менее, почти каждый известный случай говорит против большой привязанности, и совершенно очевидно, что он приносил ее в жертву всякий раз, когда это было необходимо, либо ради амбиций цезаря, либо в своих собственных целях.

Еще одно краткое упоминание о ней в то время содержится в хорошо известном письме Пуччи. Из его заявления можно было бы заключить, что Джулия Фарнезе и Лукреция жили вместе. Ибо он упомянул, что собирался навестить Джулию во дворце Санта-Мария-ин-Порлика, и написал: “Когда мы добрались туда, она как раз мыла голову. Мы нашли ее сидящей у камина с мадонной Лукрецией, дочерью его Святейшества, и она приветствовала моих спутников и меня со всеми признаками восторга.... Она пожелала, чтобы я увидел ребенка, который уже довольно большой и похож на папу Римского *adeo ut vere ex ejus semine orta dici possit*.”

“Мадонна Джулия потолстела, превратившись в очень красивую женщину. Пока я был там, она распустила волосы и уложила их. Распущенные волосы упали к ее ногам; я никогда не видел ничего, что могло бы сравниться с ними. Поистине, у нее самые красивые волосы, какие только

можно вообразить. На ней был тонкий газонный головной убор, а поверх него легчайшая сетка, перевитая золотыми нитями, сияющая, как солнце.... Ее платье было сшито в неаполитанском стиле и оторочено мехом. Как и у мадонны Лукреции, которая через некоторое время пошла переодеться и вернулась в платье из пурпурного бархата”.



"ДЕВА С МЛАДЕНЦЕМ"

РАБОТЫ ПИНТОРРИККИО, В ЗАЛЕ ИСКУССТВ ВАТИКАНА

Упоминание о Лукреции на редкость бессмысленно, но само письмо интересно. Четырнадцатилетний ребенок и сознательная распутница, очевидно, находились, по крайней мере, в постоянном дружеском общении. “Распутница” - сильное выражение, но Джулия Фарнезе принадлежала к тому типу людей, к которым никакое другое слово в равной степени не применимо. Она была молода, свежа, красива, а папа Александр был старым развращенным шестидесятилетним человеком. Но она стала его любовницей с той же спокойной оглаской, с какой женщина могла бы стать супругой правящего монарха. Факт ее испорченной юности и

забытых домашних приличий давил на воображение не больше, чем небрежное сбрасывание неухоженной одежды.

Говорят, что Пинторриккио в своей серии фресок в Ватикане написал ее, а также Александра и Лукрецию. Над дверью Зала искусств изображена мадонна с младенцем, мадонной которой, как предполагается, была Джулия. Если это так — а это, по сути, похоже на портрет, — то она была очень интересной и изысканной. В этом лице есть характер и своего рода интеллигентная беспечность — та беспечность, которая предполагает интуитивное осознание незначительности большинства незначительных событий. Ошибка, допущенная Джулией, заключалась в том, что она включила этику в число второстепенных непредвиденных обстоятельств.

Что касается вопроса, действительно ли она и Лукреция были написаны Пинторриккио, то, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что, поскольку портрет Александра неоспорим, изображения двух девушек должны были быть включены где-то в серию фресок. Александр, несомненно, хотел, чтобы их нарисовали, и обоим было примерно столько же лет, сколько они выглядят на фресках в то время, когда Пинторриккио работал над личными покоями папы римского. На самом деле Пинторриккио годами спокойно трудился в комнатах, через которые постоянно проходила Лукреция, и, должно быть, он стал настолько неотъемлемой частью неизменных повседневных впечатлений, что можно представить, как все ее последующие воспоминания о жизни в Риме служили своего рода фоном для осознания чудесных картин, в которых художник выразил, возможно, с большей полнотой, чем где-либо еще, свое особое чувство красоты.

Лукреция, должно быть, знала Пинторриккио с того времени, когда была чуть старше ребенка, до своего третьего замужества, хотя вполне вероятно, что в тот период она была слишком поглощена своими мыслями и легкомысленна, чтобы обращать внимание на задумчивого мужчину, подчеркивающего красоту каждой ее стороны. Конечно, сложная природа ее собственной семейной драмы была сама по себе достаточной, чтобы поглотить любого. Вскоре после ее замужества Моро втянула Францию в неаполитанскую авантюру. Александр VI. был яростным противником этого вторжения и, кроме того, был близким другом неаполитанского короля. Ситуация для мужа Лукреции мгновенно осложнилась; политика его дома и политика его тестя стали резко враждебными.

Сам Джованни остро осознавал неловкость собственного положения. В 1494 году он написал Людовико, что папа спросил его, что он может сказать по поводу сложившейся ситуации, и ответил: “Святой отец, все в Риме верят, что вы в согласии с королем Неаполя, который является врагом Милана. Если это так, то я нахожусь в очень трудном положении, ибо нахожусь на жалованье у вашего Святейшества и последнего названного государства. Если дела пойдут таким образом, я не вижу, как я могу служить одному, не отказываясь от другого, хотя я хочу отделиться ни от того, ни от другого”. Он завершил письмо заявлением, весьма нелестным для Лукреции. “Если бы я знал, монсеньор, - писал расстроенный Сфорца, - что окажусь в моем теперешнем положении, я бы скорее съел солому в своей постели, чем заключил этот брак”.

Будучи молодой девушкой, Лукреция, очевидно, не привлекала ничьего внимания. Одно это говорит о том, что она не была порочной: порочность всегда, по крайней мере, привлекает внимание. Для своего первого мужа, когда он писал вышеупомянутое письмо, она не могла иметь никакого значения. Однако вскоре после отправки Джованни уехал из Рима в свой

родной город Пезаро, забрав с собой девушку, о браке с которой он так сожалел. Он еще не был открыто в плохих отношениях с Ватиканом: помимо собственной жены, на его попечение была возложена целая коллекция придворных дам папы. Джулия Фарнезе, мадонна Адриенна и мадонна Ваноцца были включены в список, поскольку вспышка чумы в Риме привела Александра в ужас относительно безопасности двух молодых женщин. Джованни, вероятно, предпочел бы, чтобы Лукрецию меньше сопровождали. Всегда вовлеченная в эту толпу женских связей, она, должно быть, в юности носила почти механический характер манипулятора — казалась немногим лучше, чем выразителем мнений Ватикана. Однако, находясь в Пезаро, муж и жена пережили на мгновение объединяющий опыт, в равной степени попав под неудовольствие папы римского. Похоже, они позволили мадонне Джулии и мадонне Адриенне покинуть их. Брат Джулии был серьезно болен, и две женщины отправились ухаживать за ним. По этому поводу Александр, который мог быть очень раздражительным, когда ему мешали, написал Лукреции сам, а не под диктовку. Он написал, что был очень удивлен тем, что не получал от них вестей чаще, и в напряженной и раздраженной фразе приказал девушке быть более пунктуальной в будущем. Но это была не настоящая обида, и он сразу же перешел к отъезду Джулии и ее матери. Считалось, что Лукреция и Джованни вели себя одинаково непростительно, отпустив их без разрешения Александра. Он писал так, словно они были двумя непослушными детьми, чья намеренная холодность привела, как они, должно быть, прекрасно понимали с самого начала, к большому раздражению лично его. В конце раздраженного выступления их предупредили, что в будущем им больше никогда не будут доверять. Подобное письмо, включающее обоих во взаимный позор, могло бы легко мимолетно пробудить легкую дружбу между столь молодой парой. Несмотря на это, общее мнение таково, что они никогда не испытывали симпатии. Кроме того, в Пезаро, хотя Лукреция прожила там год, они очень редко бывали вместе. Джованни занимал должность офицера в армии папы римского, и это был год острой тревоги для Александра. Потребовалось небольшое обратное путешествие Карла VIII во Францию, прежде чем папская земля вновь почувствовала себя твердой под ногами понтифика.

Затем Лукрецию отозвали в Рим, и она снова начала вести прежнее беспутное существование в своем дворце недалеко от Ватикана. С этого времени скандалы вокруг Борджиа разгорелись с необычайной быстротой, став предметом заинтересованной молвы при любом другом дворе Италии. Младший сын Александра, Джофре, женился на испанской девушке на несколько лет старше себя и после восстановления политического спокойствия привез ее с собой в Рим. Одна только эта мадонна Санча вызвала ошеломляющее количество скандалов, от которых Италия ахала. В самые невинные моменты своей жизни она питала страсть к менее спокойным радостям жизни. Ее приезд превратил веселье светского Рима в крайность светскости. Она вела себя откровенно вызывающе: слово “порочность”, казалось, имело для нее не более неприятное значение, чем другое. Говорили, что оба брата ее мужа, Джованни и Цезарь Борджиа, были среди ее любовников. На самом деле, последующее убийство Джованни Борджиа многие люди рассматривали как результат отсутствия у нее моральной разумности, как считалось, ревности Цезаря, побудившей его преждевременно отправить другую в вечность. Между великолепной порочностью Санчи и Джулии Фарнезе Лукреция плелась, как какой-то незначительный и невнимательный придаток. О ней постоянно упоминают в обществе Санча, но в отношении нее даже не высказывается никаких предположений о неприличии, пока развод с Джованни не вовлек ее во всеобщую ненависть к остальным членам семьи.

Этот развод назревал с тех пор, как французское вторжение сделало Сфорца политически бесполезным для Александра. Однажды Джованни Сфорца прямо попросили отказаться от

Лукреции. В случае его отказа грозили крайними мерами, и ни один человек, столь близкий к семье, не мог быть не знаком с тем видом принуждения, которое могло быть применено, если бы он продолжал упорствовать. В течение нескольких дней он копил в себе гораздо больше горечи, чем знал, как с ней справиться. Затем драматическая срочность привела нерешительность к внезапному завершению. Согласно большинству версий этой истории, Джакомино, *камерьер* Джованни Сфорца, однажды находился в комнате Лукреции, когда они услышали шаги Цезаря Борджиа снаружи. Лукреция уже была поставлена в известность о предстоящем разводе. Александр и Цезарь никогда не считали, что мягкое и податливое создание нуждается в укрытии. Она была для них, очевидно, идеальным инструментом, по-детски взбалмошной, от природы послушной, и малейший соблазн побуждал ее к новым ожиданиям. Но даже тогда у Лукреции были какие-то инстинкты, о которых ее народ не знал, и лишать мужчину радости жизни было для нее невыносимо. Должно быть, она заподозрила какую-то зловещую связь, потому что, услышав шаги Цезаря, затолкала Джакомино за какой-то гобелен. В ходе беседы Цезарь заявил, что приказ об убийстве ее мужа уже был отдан. Это звучит невероятно, но тогда вся история Борджиа имеет то же качество невозможной мелодрамы. Как только он ушел, Лукреция бросилась к занавескам: этот человек должен немедленно идти и спасти своего хозяина. Двадцать четыре часа спустя Джованни Сфорца прибыл в Пезаро. Его лошадь упала мертвой, когда он подъехал.

Грегоровиус утверждает, что Лукреция не была согласна на развод. Вера в то, что это было правдой, приятно вписывается в чье-то представление о ней. Та Лукреция, которую мы недавно обнаружили, была бы связана легкой и нежной привязанностью к любому человеку, который не был бы к ней недобр, и все ее инстинкты были бы против того, чтобы причинять кому-либо боль. Конечно, после побега Джованни она почувствовала тяжесть некоторых неприятностей в Ватикане. И вскоре после этого она либо уехала, либо была с позором отправлена в монастырь Сан-Систо на Аппиевой дороге. В письме, написанном в июне того же года Донати Аретино кардиналу Ипполиту Д'Эсте, он сообщает: “Мадонна Лукреция покинула дворец *в гостеприимном* доме и отправилась погостить в монастырь Сан-Систо, где она находится до сих пор. Ходят слухи, что она сама хочет стать монахиней, но есть и ряд других слухов, которым невозможно доверять на слово”.

Эти “другие слухи”, по-видимому, являются скандалами, в которые стали верить после развода и которые, как полагают, развязал озлобленный до мозга костей Джованни.

Но развод был получен, и для девушки были немедленно заключены переговоры о новом браке, чьи представления об обычном поведении, должно быть, были так прискорбно перевернуты вверх дном. Предполагаемый новый брак был направлен исключительно на благо цезаря — в нем Лукреция стала всего лишь средством помощи. Цезарь, отрекшийся от священства после таинственного убийства своего старшего брата, которое произошло, когда Лукреция находилась в монастыре, задумал жениться на Шарлотте Арагонской и через этот брак стать королем Неаполя. После французского вторжения нынешняя правящая династия заметно распалась. Цезарь уже просил руки принцессы Шарлотты и получил решительный отказ. В Ватикане надеялись, что брак Лукреции с братом Шарлотты, доном Альфонсо, проложит путь к другой, более важной свадьбе. Лукреции было восемнадцать лет, когда она выходила замуж во второй раз, и, по словам посла Мантуи, она по-настоящему влюбилась в красивого юношу, который сделал ее герцогиней Биселли.

К несчастью, они остались в Риме, в нежелательной компании, к которой Лукреция принадлежала с младенчества, и с этого времени ужасные скандалы разгорелись вокруг Лукреции, как и вокруг остальных членов ее семьи. Согласно одной из них, она родила внебрачного сына от некоего фаворита Александра, Перотто. Этот несчастный - еще один человек, убийство которого приписывают Цезарю. Он сделал это, очевидно, в присутствии самого папы Римского и забрызгал кровью всю одежду старика. Существование ребенка у Перотто не подтверждено, а правдивость более поздних скандалов, которые обсуждались с замиранием сердца, еще менее достоверна. В то же время то, что Лукреция должна была родить незаконнорожденного ребенка, вполне возможно. В обществе, где любовники были более нормальными, чем мужья, трудно представить, что она должна была сбежать с безупречной, незапятнанной невинностью — вероятно, завела любовника, потому что она была молода, любвеобильна, и никто из ее знакомых не считал такое поведение прискорбным. Тем не менее, хотя есть все основания для того, чтобы этот индивидуальный скандал имел корни в правде, доказательства его подлинности столь же неубедительны и неподтверждены.

В течение года брак Биселли носил вид обычного успеха. Затем политика Ватикана снова изменилась, и трагически и жестоко судьба Лукреции изменилась вместе с ними. Людовик XII. началась вторая итальянская кампания, и Александр теперь был на стороне французов. Таким образом, неловким фактором в ситуации снова стал муж Лукреции. Действительно, казалось, что она должна была уметь овладевать неуклюжими супругами. Однако во время этого второго кризиса Лукреция не стала дожидаться предупреждения об опасности, и однажды Альфонсо исчез. Венецианский писатель из Рима замечает: “Герцог Биселья, муж мадонны Лукреции, тайно бежал и направился в Дженаццано, к Колоннам. Он оставил свою жену на шесть месяцев *заклучения*, а она только и делает, что плачет. Это заявление, наконец, на секунду приоткрывает завесу над личностью девушки. Она любила этого второго мужа; при намеке на опасность она отослала его прочь, но после ухода проплакала по нему весь день. Это полный список поведения любой нормальной, нежной женщины.

Альфонсо написал и убедил ее последовать за ним, но Александр, как говорят, заставил ее умолять Альфонсо вернуться. На данный момент возникает некоторая путаница. Конечно, в конце концов Лукрецию отослали за город — в Сполето, — и здесь, через некоторое время, к ней присоединился Альфонсо. Это было опасно, но они были в том возрасте, когда дурные предчувствия подкрепляются усилием. В подростковом возрасте неестественно навсегда сохранять тревожное предчувствие. Смерть в полном физическом благополучии - это мрачная полуночная возможность, а не постоянная навязчивая идея о ярком и жизнерадостном дневном свете. Глупо и, но так естественно, что их страхи постепенно рассеялись, и, когда Цезарь Борджиа сражался в Форли, к октябрю следующего года они вернулись в Рим, где Лукреция родила сына и где еще год они жили без помех, пока Микеланджело работал над своей Пьетой Коперника, а Пинторриккио продолжал расписывать стены Ватикана.



БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Из СЕРИИ ФРЕСОК , НАПИСАННЫХ ПИНТОРРИККИО В ВАТИКАНЕ

В 1500 году, в год юбилея Александра, Цезарь вернулся, и бедствие, исход которого был практически предрешен в течение года, обрушилось на семью Биселли. Однако до того, как это произошло, произошел инцидент, который является еще одним убедительным свидетельством мягкости сердца Лукреции. На Александра обрушилась труба, и во время его недолгой болезни уход за ним взяла на себя не его любовница и не кто-либо из множества людей, в чьи обязанности в той или иной степени входило ухаживать за ним, а сама девушка Лукреция. Говорят, старик отказывался иметь при себе кого-либо еще. Таким образом, очевидно, что у нее были более нежные манеры, более естественные способности и терпеливые методы, чем у

остальных, и для пациента она была комфортным воплощением материнства, сочувствия, контроля и бескорыстия. Ни одну женщину не стали бы звать в комнату больного, если бы она не обладала всеми прекрасными и теплыми качествами характера.

Вскоре после этого произошло неизбежное. Альфонсо, поднимавшийся по ступеням Ватикана, был атакован группой людей в масках с кинжалами. Тяжело раненный, он сумел прорваться мимо них в собственные апартаменты папы, где Лукреция сидела со своим отцом. Когда истекающий кровью мужчина, пошатываясь, вошел в комнату, она упала в обморок. Так поступила бы любая обычно нежная женщина, внезапно оказавшаяся втянутой от тривиального разговора в этот новый ужас одиночества.

Умиравшего уложили в постель и с радостью даровали последнее отпущение грехов. Но Лукреция, сама заболевшая лихорадкой, вызванной потрясением, предприняла отчаянную борьбу, чтобы спасти принадлежащую ей жизнь. И здесь она предстает совершенно естественной женщиной. Доведенная в конце концов до бунта теми, кому она не осмеливалась открыто бросить вызов, убитая горем, потрясенная, сгорающая от ужаса, бессилия и отчаяния, она все же боролась с ними всеми жалкими средствами, имевшимися в ее распоряжении. Никому, кроме нее самой или его сестры Сансии, не разрешалось ухаживать за раненым; всю еду эти двое готовили вдвоем, вероятно, с колотящимися от постоянного страха сердцами. Говорят — и за этими обстоятельствами всегда стоит смутный намек на то, что Александр был слабым человеком во власти цезаря, — что сам папа встал на сторону двух страдающих, встревоженных женщин и помог уберечь опасных людей от комнаты больного. Но Альфонсо после выздоровления цезарю нельзя было отказать в приеме. Он не был признан причастным к преступлению; никто не мог открыто обвинить его. Тем не менее, его визит усилил зловещие предчувствия. После него он мрачно заметил: “То, что не увенчалось успехом в полдень, может увенчаться успехом ночью”.

Он позаботился обо всем, что следовало. Однажды вечером две женщины — почему, понять трудно, поскольку обе были поглощены душераздирающими подозрениями — вышли на минутку из комнаты. Должно быть, сам цезарь проследил за их отсутствием, потому что сразу же после этого он проскользнул в дом со своим душителем Микеллетто, и через минуту или две Лукреция овдовела. Агония, достаточно острая, по крайней мере, была короткой.

На этот раз, хотя о ней не написано ни единого интимного заявления, Лукреция, должно быть, высказала какой-то первичный протест, какую-то первую жалобу на жестокость такого вдовства. Венецианский посол ссылается на разногласия между Лукрецией и ее отцом. Он пишет: “Мадонна Лукреция, щедрая и сдержанная, раньше пользовалась большим расположением папы римского, но, похоже, он больше не заботится о ней”. Девочка тогда училась в Непи. Никто не знает, что произошло раньше, но они с отцом наверняка не поссорились бы, если бы ее кротость оставалась преобладающей. Должно быть, что-то пересилило покорность и снова выслало ее из Рима, либо из чувства горечи, либо потому, что она выводила из себя тех, кто контролировал ее существование.

Но переговорам о третьем браке не позволили затянуться. Когда цезарь покорил отважную и крайне порочную Екатерину Сфорца и захватил город Пезаро, Колленуччо упоминает в конце письма: “Папа намерен отдать этот город в качестве приданого мадонне Лукреции и обеспечить ей мужа-итальянца, который всегда будет поддерживать хорошие отношения с Валентинуа. Я не знаю, правда ли это, но, по крайней мере, принято считать, что так оно и есть”. В том же письме

есть набросок самого цезаря. Колленуччо говорит: “Его считают храбрым, могущественным и щедрым, и говорят, что он заботится о том, чтобы добиться большего от богатых людей. Он безжалостен в своей мести; многие люди говорили мне об этом. Это человек с великим духом, стремящийся к величию и славе, но, похоже, он предпочитает завоевывать провинции, чем умиротворять и организовывать их”.

Тем не менее, поскольку Борджиа был человеком с непреклонной целью, он даже для многих своих врагов считался образцом величия. Макиавелли фактически сделал его идеалом правящего княжества — тонким сочетанием льва и лисы.

Макиавелли — сам по себе такой необычайно интересный — принадлежит истории Флоренции, а не истории Рима и Александра. Он никогда по-настоящему не соприкасался с Лукрецией, но следующее описание его дней, когда он жил в своем собственном небольшом поместье, данное в письме другу, настолько ярко отражает дух эпохи, в которую жили он и Лукреция, что кажется более чем достаточным основанием включить его в список. Он писал, что встал на рассвете и, проведя пару часов в лесу, где рассматривал работу предыдущего дня и болтал с дровосеками, отправился в определенную рощу с томиком Данте, Петрарки или кого-нибудь из латинских поэтов, чтобы почитать. Впоследствии он прогулялся до гостиницы, посплетничал с тамошними обитателями и, непосредственно общаясь со многими типами темпераментов, изучил человеческую природу. Поужинав, о котором он говорил как об очень простой еде, он вернулся домой; но, покончив с едой, он направился обратно в гостиницу, где провел день, играя в *крикку* и *триктрак* с хозяином или любым другим человеком, случайно оказавшимся там. Очевидно, никто не желал, чтобы это был мирный отдых. Макиавелли заявляет с каким-то жизнерадостным блеском, что они постоянно ссорились и кричали друг на друга, как разъяренные сумасшедшие. Но это неистовство было на один день. Когда наступил вечер, он снова отправился домой, и на этот раз, сбросив свою грязную деревенскую одежду и одевшись с такой тщательностью, словно находился при дворе, он удалился в свою библиотеку до отхода ко сну и погрузился в произведения писателей прошлого. На самом деле это была напряженная часть его дней; вся его натура, писал он, погрузилась в радость этого интеллектуального общения, все остальное, каждая забота, каждая мысль о настоящем или будущем, ускользало от него, пока он читал.

Эпоха Макиавелли содержит в себе всю суть ренессансного поведения — абсолютное погружение личности в изобразительное искусство или хорошую литературу, а вместе с этим и крайнюю физическую бурность. Эти люди почти задыхались от жизненной силы; они еще не были подавлены и измучены злом и горестями слишком многих прошлых поколений.

Лукреция, как и все остальные, реагировала на жизнь слишком инстинктивно, чтобы долго горевать. Она проявила интерес легкомысленного ребенка к предложениям о своем третьем браке, и на этот раз Александр выбрал Альфонсо Феррарского как человека, по сути желанного. Цель была амбициозной. Запятнанная, разведенная и овдовевшая дочь папы римского не была подходящей невестой для будущего герцога Феррары. Фактически, предложение вызвало не что иное, как панику, когда его представили избранному жениху и его отцу. Репутация Лукреции была неопишуемой.

Обвинение в кровосмешении было среди прочих выдвинуто против нее. Это повторяли Макиавелли, Гвиччардини и поэты Саноццо и Понтанус. Тем не менее, сейчас в это никто не верит. Ни поведение Александра, ни Цезаря не позволяет этого предположить. Во-вторых, все

те, кто распространял это, имели либо личную неприязнь к Борджиа, либо повторяли это исключительно понаслышке. Кроме того, оба поэта были друзьями и подданными арагонского дома, а в Неаполе после убийства Альфонсо слово “Борджиа” стало означать “мерзость”.

Но в Ферраре обвинение не подвергалось сомнению, и Альфонсо немедленно и яростно отказался даже на секунду задуматься о предполагаемом браке. Старый герцог Эрколе, хотя и вызывал не меньшее отвращение, чем его сын, был еще более измученным и устрашающим. Чтобы оскорбить Александра, требовалась безопасность его герцогства. Что еще хуже, когда предложение папы достигло Феррары, с Францией уже начались другие переговоры о браке. И внезапно все приятные планы превратились в опасные и неопределенные. Огорченный из-за уклончивости, Эрколе прямо и довольно жалобно написал французскому послу, умоляя французского короля не вставать на сторону папы, а написать и поддержать его, заявив, что это было бы почти правдой, что уже был устроен другой брак. Все письмо было полно напряжения и мольбы, и хотя заканчивалось заявлением, что согласия на этот союз из него в любом случае никогда не выжмут, и что вдобавок ничто не заставит его сына жениться на этой даме, в каждой строчке сквозила мука бунта, который осознает свою тщетность.

Эрколе не нашел друга, который мог бы ему помочь. Его письма, написанные после того, как Людовик ускользнул от ответственности за подстрекательство к нему, раскрывали волнение, которое вызвало в Ферраре принятие этой добродетельной будущей герцогини. Раздраженный и несчастный, он открыто показал, что расценивает поведение короля как подлый отказ от дружеских отношений. В конце концов он сдался, что и был вынужден сделать, но говорил об этом с трагической правдивостью как о поступке, “откладывающем” честность его самого древнего дома.

Эта новость вызвала почти неистовую радость в Ватикане, хотя восторг Лукреции, пожалуй, самый необъяснимый из множества необъяснимых фактов ее существования. Она не могла поверить, что ей здесь рады, и не могла представить Альфонсо добродушным, волнующим душу собеседником. Он определенно был человеком, довольным мужским обществом. Кроме того, его внешности было достаточно, чтобы привести в ужас женщину со светлой репутацией. Лукреция видела его и этот безжалостный тип с прямым, опущенным книзу носом, кончик которого почти касался верхней губы. Физически он был прекрасным созданием, но от него исходила холодная подозрительность, и только чрезмерная храбрость или чрезмерная тупость могли осмелиться чувствовать себя совершенно непринужденно в его присутствии. Действительно, брак предоставил Лукреции величайшую возможность в ее жизни — возможность исправиться, что должно последовать за основными проступками каждого. Более того, она великолепно справилась с ситуацией, и только благодаря этому факту ее жизнь приобрела глубокую и трогательную ценность. Ибо прошлого нет нельзя позволять человеческому отступничеству омрачать гладкость изменившегося и более благородного будущего. В жизни нет цели, если совершенствованию препятствуют отброшенные недостатки. Но хотя Лукреция сгладила плохое начало, старательно сохраняя противоположное поведение, она была не из тех женщин, которые думают об этом заранее или глубоко и тщательно планируют развитие нового персонажа. Она слишком сильно обладала мудростью жить настоящим моментом, и ее спасение пришло не из-за какой-то давно обдуманной цели, а *естественно*, когда она однажды оказалась вдали от постоянного, напористого натиска злых людей.

Как только было объявлено о помолвке, между ней и Эрколе завязалась переписка. Конечно, в те дни мужчины были опытными лжецами. Когда Эрколе написал Сезару Борджиа, что соглашается на предложенный брак, он заявил, что сделал это “из-за почтения, которое мы испытываем к святости нашего Господа, и замечательного характера самой прославленной мадонны Лукреции, но еще больше из-за огромной привязанности, которую мы испытываем к вашему Превосходительству”.

Когда брак по доверенности был заключен, он далее написал самой Лукреции, что этот брак был не только большим счастьем и утешением в его старости, но и что он с самого начала полюбил свою новую невестку как из-за исключительной доброты ее характера, так и из-за ее отношений с папой римским и Цезарем Борджиа. Только в конце в нем проскользнуло зерно истины, когда он заявил, что надеется, что потомство через нее будет обеспечено его дому в Ферраре.

Несмотря на эти заверения в любви, Д'Эсте чувствовали себя далеко не уютно. Чего они опасались, ясно из письма посла Феррарезе, написанного после долгой беседы с Лукрецией. Он писал, что она не проявляла ничего, кроме превосходных качеств, и казалась чрезвычайно скромной, любезной и благопристойной, а также горячо религиозной. Он добавляет: “Она очень хорошенькая, но вдвойне из-за обаяния ее манер. Короче говоря, ее характер, как мне кажется, не вызывает дурных предчувствий, а скорее вызывает самые приятные ожидания”. Другой писатель говорит о ней в тот же период, что, хотя она не была обычной красавицей, ее золотистые волосы, белая кожа и мягкие манеры делали ее самой привлекательной личностью. Также он упоминает: “Она очень радостная и беззаботная и всегда смеется”. Сияние солнечного темперамента на самом деле было одной из лучших вещей, которые она подарила своему сопротивляющемуся мужу.

В Феррару приехала Изабелла Мантуанская, чтобы помочь своему брату принять римскую вдову. В ее письмах мужу дается яркое описание первых дней третьего брака Лукреции. Изабелла — страстная любительница восхищения — была немного выбита из колеи соперничеством с новоприбывшим. Каждое упоминание о Лукреции таит в себе подозрение на укол. Даже простая фраза “Мне нет необходимости описывать внешность Лукреции, поскольку вы ее уже видели”, произнесенная в контексте Изабеллы, производит неблагоприятное впечатление.

Раздражение из-за определенной неуверенности в себе подкисляло общественное мнение. Изабелла была признанной красавицей; с младенчества на нее привыкли смотреть как на жемчужину среди женщин. Этот пользующийся дурной славой Борджиа, с такими же золотистыми волосами и в ее несравненно великолепной одежде и драгоценностях, мог бы вызвать расхождение во мнениях. Даже придворная дама Изабеллы упомянула маркизу Мантуанскому, что невеста была милой и привлекательной внешне. Во всяком случае, маркизана писала: “Ваше превосходительство получает больше удовольствия от возможности видеть нашего маленького сына каждый день, чем я от этих празднеств.... Жених и невеста переспали прошлой ночью, но мы пропустили обычный утренний визит, поскольку, честно говоря, это очень холодный брак. Я думаю, что и моя свита, и я выгодно отличаемся от остальных присутствующих здесь, и мы, во всяком случае, выиграем приз за карточную игру, поскольку Спагнали уже выиграл у еврея 500 золотых монет. Сегодня танцы до четырех часов, после чего будет дана другая пьеса ” На следующий день она снова написала, и в антракте,

очевидно, не было никаких заявлений о ревности. “Вчера мы провели взаперти в наших комнатах до четырех часов, так как была пятница, танцев не было, и мадонна Лукреция, чтобы перещеголять герцогиню Урбинскую и меня, настояла на том, чтобы провести все эти часы над своим туалетом.... У вашего превосходительства нет причин завидовать моему присутствию на этой свадьбе, ибо никогда еще не было более бездуховного и бесстрастного мероприятия”.

Изабелла была великим, похотливым созданием, а Лукреция - хрупкой женщиной, только что вернувшейся из изнурительного путешествия, переутомившись перед отправлением. К тому же, если бы она не умела очаровывать в эти первые решающие дни, ее дело было бы проиграно. Кому какое дело защищать уродливую женщину, приводя против нее все улики? Но свежее, улыбающееся, похожее на ребенка создание обезоруживает антагонизм своей заразительной радостью. А Лукреция, как известно, могла быть подобна самому солнечному свету в своей мягкой вежливости и хорошем настроении. Она изо всех сил старалась произвести умиротворяющее впечатление, и ей это удалось. Тем не менее, брак оставался, как и сказала Изабелла, холодным. О невесте думали так легкомысленно, что от Альфонсо нельзя было требовать даже притворной привязанности. Сам Александр требовал только, чтобы он действительно был ее мужем, и, удовлетворенный этим, заметил послу Феррарезе: “Это правда, что, будучи молодым, он бродит туда-сюда в поисках удовольствий в течение дня, но у него все хорошо получается”.

Однако с самого начала Лукреция проявила себя великолепно. Едва добравшись до Феррары, она сбросила с себя запятнанный римский облик, как сбросила бы грязную одежду. Без медленных переходов она показала себя приятной, трезвой домохозяйкой, которой не хватало даже уверенности в себе, чтобы требовать верности. Интеллектуально она не могла соперничать с Изабеллой Мантуанской или Елизаветой Урбинской; но у нее, по крайней мере, было достаточно живости характера, чтобы одним прыжком как бы повернуться спиной ко всей своей прошлой жизни, как будто она пыталась доказать, что является чужой личностью.

Эрколе она покорила сразу. Он был стар, а эта девушка, чей приход так взволновал его, обладала очень изящным отношением к старшим. К тому же он устал, а те, кто приближается к трагическому завершению существования, всегда ненадолго согреваются присутствием внимательной молодости. Эти двое, по крайней мере, прекрасно ладили. Однажды она заболела, и ей пришлось уехать из-за состояния своего здоровья. Во время ее отсутствия старик настоял на том, чтобы ежедневно получать заметки о ее состоянии. Это самые простые, обезоруживающие письма, какие только можно себе представить. Из всего, что есть в Лукреции, наиболее явно отсутствует хитрость. Ее грехи никогда не могли быть преднамеренными, заранее спланированными. Должно быть, она наткнулась на них, как заблудившийся ягненок, оставшийся без присмотра, падает в пропасть.

Вскоре родился обычный ребенок. Это была девочка, что противоречило желаниям всех остальных. Но, несмотря на это, Лукреция находила некоторое утешение. Какое-то время она была опасно больна, и в течение этого периода Альфонсо с трудом отрывали от ее постели. Очевидно, он осознал, что она ему подходит, и слабая девушка в своей душной постели, должно быть, испытала прилив удовольствия. Она ни на что не была годна.

Ее выздоровление привело ее к одному из самых судьбоносных событий в ее судьбоносной и драматичной жизни. Александр внезапно умер. Они с Цезарем заболели одновременно. Все говорили о яде, но симптомы Александра полностью соответствовали апоплексическому удару.

Однако его смерть поставила новую леди Феррарезе в крайне опасное положение в обществе. Она стала женой дона Альфонсо исключительно потому, что они с Эрколе глубоко боялись ее отца. Теперь, когда он был мертв, не могло быть ничего проще, чем воспользоваться копилкой прежних скандалов и на основании их отвергнуть ее. Фактически, Александра похоронили не раньше, чем Людовика XII. дипломатично заметил послу Феррарезе: “Я знаю, что вы никогда не одобряли этот брак. На самом деле мадам Лукреция никогда не была женой дона Альфонсо.

Лукреция, должно быть, похолодела от ужаса, но ничего страшного не произошло. К счастью, у нее было достаточно времени, чтобы показать, *какой* хорошей она может быть. К этому времени ни Эрколе, ни Альфонсо не желали менять кроткую женщину, которая была необходима, чтобы подарить семье наследника. Ее безмятежная, легкая вежливость устраивала обоих, и опасность, которая на мгновение грозила захлестнуть ее, незаметно отступила, как спокойные, отступающие воды. Но в связи с этим на первый план выходит одна из главных дружеских связей в жизни Лукреции в Ферраре. Бембо во время ее траура — через год после замужества — стал достаточно близок, чтобы дать совет, который ни один мужчина не потрудится дать женщине, совершенно к нему равнодушной. Он написал, имея в виду смерть Александры, что, получив информацию о том, что ее горе было ужасным и чрезвычайным, он позвонил накануне в надежде, что сможет хоть немного утешить ее. Но он с сожалением признал, что его визит оказался бесполезным, поскольку едва он увидел ее, как ее безысходное уныние и жалкие черные драпировки причинили ему такую невыносимую душевную боль, что он буквально не мог произнести ни одной связной фразы. Затем он продолжал умолять ее — и писал с какой-то нежной прямоотой — попытаться сдержать ее страдания, опасаясь, что обстоятельства, очевидно, не совсем однозначны, и следует думать, что она плакала не столько из-за своего отца, сколько из-за возможной ненадежности своего нынешнего положения. Он мягко напомнил ей, что это не первое страшное бедствие, постигшее ее по воле суровой судьбы, и в нескольких восхитительно искренних фразах практически умолял ее, ради ее же блага, проявить мужество и сдержанность. Он завершил письмо почти заискивающим извинением за то, что сказал так много, и просьбой — столь обычной для влюбленного мужчины — чтобы она всячески заботилась о своем здоровье.

Помимо огорчения при виде несчастной Лукреции, вторая часть письма показывает человека, получившего откровения. Версия Лукреции — возможно, правдивая — о темном прошлом была в какой-то степени в его распоряжении, и он предупредил ее, насколько мог, чтобы уберечь от усугубления ее нынешнего шаткого положения в Ферраре.

Дружба этих двоих - еще одна из тех неопределенностей, в которых кроется все, что касается Лукреции. Ее без необходимости окутали ложной видимостью таинственности. Прядь ее волос была найдена среди пачки ее писем к нему, и хотя крайне сомнительно, что эти волосы вообще могли принадлежать ей, близость из-за них была немедленно расценена как переходящая границы добродетели. Но почему прядь волос должна кого-то обвинять? Желание смягчить боль, которую они видят, сильно у всех женщин-матерей. Лукреция распускала волосы по плечам; ножницы, должно быть, были под рукой из-за большого количества рукоделия, выполнявшегося в то время. Бембо, тогда еще молодой человек, тоже какое-то время был очень влюблен, поэтому способен на небольшие сентиментальные утешения. Волосы женщины - это часть самой ее личности. Чтобы оказать подобное благодеяние, при таких благоприятных обстоятельствах, потребовался бы всего лишь момент смягчения или импульсивности. Кроме

того, Лукреция, чей муж был поглощен изготовлением взрывчатых веществ, вполне могла быть немного благодарна за то, что кто-то хотя бы любил ее.



СЮЗАННА И СТАРЕЙШИНЫ
ИЗ СЕРИИ ФРЕСОК , НАПИСАННЫХ ПИНТОРРИККИО В ВАТИКАНЕ

Нет привычки более пагубной, чем выводить зло из тривиальных причуд. Никакое суждение, которое не осознает внутренних тонкостей — всего сложного развития любого данного обстоятельства, — не дает права предполагать вредность. Прядь волос может быть результатом явной холодности, или это может быть результатом самого неподдельного сострадания: это

может быть бессмысленное последствие внезапного необдуманного смеха, или предложенное утешение сердца, которому больше нечего предложить. Но во всех случаях она сама по себе полностью лишена чего-либо, оправдывающего осуждающую конструкцию.

Бембо слишком хорошо известен среди знаменитостей эпохи Возрождения, чтобы нуждаться в личных объяснениях. Вазари говорит о нем: “Итальянцы не могут быть в достаточной степени благодарны Бембо за то, что он не только очистил их язык от ржавчины веков, но и придал ему такую регулярность и ясность, что он стал тем, что мы видим”. Мало кто из мужчин знал жизнь, полную более продолжительного триумфа. Во времена своей дружбы с Лукрецией он был молод — симпатичный мужчина лет двадцати восьми, — но уже снискал всеобщее признание.

Он был не единственным умным человеком в обществе герцогини Феррары; традиции этого дома были интеллектуальными. Лукреция, наконец, попала в превосходные руки и воспитывалась в лучшей школе из возможных. Мужчины, отличавшиеся не только гениальностью, но и серьезными качествами характера, воспитывали ее в дружеском общении. Бембо, Кастильоне, Альдо Мануке — все они были людьми, которые мыслили с некоторой глубиной и широтой. Ариосто, с 1503 года состоявший на службе у Ипполита Д'Эсте, был еще одним гениальным человеком, которого она, должно быть, близко знала, а среди менее выдающихся интеллектуалов два поэта Строщи, а также Тебальдео и Каллагнини пели ей дифирамбы от личного знакомства.

Однако это было не совсем легкомысленное общество. Альфонсо, хотя и мало общался с *окружением* своей жены, постоянно создавал опасный фон для этого. Его подозрения всегда были начеку. Ему приписывают убийство поэта Строщи, и в 1505 году Тебальдео написал Изабелле: “Этот герцог ненавидит меня, хотя я не знаю почему, и мне небезопасно оставаться в городе”. Даже Бембо, в его отношениях к своему другу, пришлось соблюдать крайнюю осторожность, и в конце концов и ему стало нецелесообразно дольше оставаться в Ферраре. С его уходом одна из самых нежных привязанностей в жизни Лукреции развалилась на куски. И все же не совсем; Бембо, хотя и заводил любовниц, которых любил до безумия, в течение пятнадцати лет продолжал переписываться со своей феррарезской герцогиней. Если бы их дружба не была очень настоящей и очень искренней, она превратилась бы в ничто в течение года.

Близость Лукреции с Кастильоне была менее заметной. Он не имел никакого значения в ее жизни, за исключением того, что был среди тех, кто помогал ей развивать культуру. Однако интересно, что она должна была знать его, потому что в своей великой книге Кастильоне с ясной конкретностью выразил ренессансный идеал женственности. В целом это была лишенная воображения концепция — по крайней мере, выраженная так, как ее выразил Кастильоне. Ибо ни одна книга никогда так полно, как “Придворный”, не избегала какой-либо косвенности или какой-либо индивидуальной откровенности идиосинкразии. Такт, по словам Кастильоне, был основным источником женского очарования — такт и искусство вести беседу. Он настаивал на одном мудром утверждении — учтивости. Это, по его словам, должно быть неотделимо от общества каждой женщины. Это замечание врезается в память — учтивость, мягкое и успокаивающее самообладание, которые так почти вышли за рамки даже представления о хороших манерах. Скандалы, особенно ее собственного пола, женщине было непростительно ни произносить, ни обращать на них внимание. Танцы и другие достижения он считал необходимой частью образования; но, с другой стороны, он не поощрял естественность.

Он писал: “Когда она приходит танцевать или исполнять какую-либо музыку, ее следует привести к этому с некоторым страданием, чтобы за нее помолились, и с определенной застенчивостью, которая может свидетельствовать о благородной стыдливости, противоречащей своеволию”. Таким образом, ранневикторианский кодекс хороших манер был всего лишь возвращением к прежней моде, причем моде, спровоцированной мужчинами, а вовсе не женщинами.

Кастильоне подробно остановился на вопросе одежды. Здесь его здравый смысл безупречен: “Женщина должна иметь здравый смысл, чтобы знать, какая одежда лучше всего подходит ей, и быть наиболее подходящей для упражнений, которые она намеревается предпринять в данный момент, и в соответствии с ними одеваться”. Он настоятельно призывал худых и полных обращать внимание на свои особенности. Каждая женщина, настаивал он, должна делать все, что в ее силах, чтобы поддерживать себя “опрятной и красивой”.

Что касается морали, Кастильоне не испытывал серьезных чувств. Он выступал за добродетель, но не потому, что поведение жизненно важно, имеет далеко идущие последствия, на мгновение затрагивая характер и судьбу стольких людей, помимо исполнителя, а почти исключительно из-за большей безопасности, связанной с осмотрительностью. Интрига сопряжена со столькими опасностями. Следовательно, он призвал женщин “быть внимательными и помнить, что мужчины с меньшим риском демонстрируют влюбленность, чем женщины”. Он умолял женщину “не отдавать своему возлюбленному ничего, кроме своего разума, когда либо ненависть к своему мужу, либо любовь, которую он питает к другим, побуждают ее любить”. Слова были такими бессмысленными, но определенное действие опасно могло привести к определенным последствиям. Мужья умели мстить своим собственным женам за то, чего они требовали от жен других.

Список завершается странным и почти незаметным условием. Идеальная леди, по словам Кастильоне, “должна быть не только образованной, но и уметь придумывать виды спорта и времяпрепровождения”. Любой активный мозг нуждается в отдыхе. Следовательно, желанная женщина должна знать, как ослабить напряжение поглощающих мыслей, а также как поощрять симпатию. Здоровье требует некоторых перерывов для расслабления и безрассудства.

Сам Кастильоне женился на девочке по имени Ипполита Торелли, жизнь которой была трагически короткой. О нем как о муже ничего не известно, кроме того, что он часто бывал вдали от дома. Его жена написала *одно* восхитительное письмо — за это ее любят, — и это практически все, что осталось от их семейной жизни. Записка была написана незадолго до ее смерти, которая наступила после рождения ее третьего ребенка. Она лежала в постели и написала на бумаге:

“Мой дорогой Муж,

“Я родила маленькую девочку, и не думаю, что вам будет неприятно это услышать. На этот раз я страдал гораздо сильнее, чем раньше, и у меня было три сильных приступа лихорадки. Но сейчас мне лучше, и я надеюсь, что боли больше не будет. Я не буду больше писать вам, чтобы не перенапрячь свои силы. Но от всего сердца вверяю себя вашей светлости.

“В Мантуе, 20 августа 1520 года.

- Твоя жена, которая немного устала от боли.

Ласкающая прелесть последней фразы подобна ощущению руки уставшего ребенка, скользнувшей в твою собственную. Кастильоне остро переживал ее смерть и писал, что ему и в голову не приходило, что его жена, о которой он говорил с большой нежностью, умерла бы раньше него, и все, о чем он сейчас молился, - это о том, чтобы Всевышний не покинул его задолго до того, как он последует за ней.

Лукреции нужны были друзья в Ферраре. Ее жизнь была почти без передышки от постоянных преследований, внутренних неурядиц и политической нестабильности. Чума и массовый голод подорвали благосостояние герцогства. Дважды Лукрецию оставляли руководить охваченным голодом районом, и дважды она доказала, что способна, находчива и самозабвенна. В первый раз она была больна, но, несмотря на это, наотрез отказалась покидать город, как предписали врачи. Она работала на несчастных людей, умирающих с голоду вокруг нее, в пламенном порыве жалости. Евреи и христиане относились к Лукреции одинаково; она усиленно защищала евреев в период, когда одно только название вызывало ярость мужчин. То, что ее сердце билось в ответ на правильные инстинкты, подтверждается всей сострадательной тканью ее дальнейшей жизни. Любое человеческое существо, интуитивно осознающее, что боль уравнивает все вещи, не может быть заключено в черствость действительно плохой или холодной натуры. Все годы, что Лукреция жила в Ферраре, ее забота о благотворительных учреждениях была личной и активной.

И следует помнить, что филантропия еще не стала модным занятием; сочувствие со стороны высокопоставленных лиц все еще было необычным и не востребованным. Управление немногочисленными существовавшими благотворительными домами в эпоху Возрождения было плачевным. Но Альфонсо и Лукреция не только построили новую и улучшенную инфекционную больницу, но и проявили достаточный личный интерес к ее пациентам, чтобы уволить человека за пренебрежение к инвалидам, вверенным его попечению.

На этом этапе жизни Лукреции следует остановиться подробнее. Это поднимает ее от легкомысленной экстравагантности и безнравственности к позитивному поведению. Глубины у нее, вероятно, не было — глубоких, задумчивых людей не так уж много, — и женщина, бросившая своего единственного ребенка, сына убитого дона Альфонсо, не могла обладать отчаянно цепким сердцем. На самом деле, во всей жизни Лукреции это худший инцидент — отказ от своего ребенка. На нее свалилось так много всего; в определенной степени таковой была сама эта капитуляция. Но не манера этого делать, не непринужденная беспечность, не импульсивное согласие. Именно этот показательный эпизод главным образом удерживает ее от общения с в высшей степени обиженными и трагическими личностями.

В 1507 году умер ее брат Цезарь. Альфонсо в то время был в отъезде, сражался с Людовиком XII. В письме, отправленном сразу же, говорилось, как она восприняла эту новость. По словам писательницы, “она демонстрировала большое горе, но с постоянством и без слез”. Эта фраза “без слез” несет в себе определенный острый подтекст. Несомненно, слушательница наконец-то погрузилась в поверхностность, чтобы найти какие-то глубокие места в своей натуре. Поверхностность всегда может пролить слезы. Если бы Лукреция даже была безразлична к смерти Цезаря — а безразличие наименее вероятное ощущение, — поверхностность уронила бы несколько слезинок от волнения, глупости, потрясения. В любом бесстрастном поведении есть трогательная усталость от горя.

Изабелла Д'Эсте, которая была с ней в то время, тоже написала. Она сказала, что Лукреция “немедленно отправилась в монастырь Корпуса Кристо, чтобы вознести молитвы за его душу. В монастыре она пробыла две ночи, а покинув его, почувствовала себя настолько плохо, что ее лечащий врач в целях безопасности настоял на том, чтобы она оставалась в постели, к которой она до сих пор прикована”.

У Лукреции после третьего брака родилось несколько детей, и через год после смерти Цезаря она родила желанного наследника Эрколе, который впоследствии женился на бедной, безрадостной Рене из Франции. Но она всю свою жизнь была хрупким созданием, и когда в 1519 году она родила мертвого ребенка, дело сразу стало безнадежным. Как католичке, ей сразу сказали, насколько близка Смерть, хотя эта информация кажется жестокой для любого человека, еще недостаточно взрослого, чтобы устать от существования. Но Лукреция, которая до сих пор никогда ни из-за чего не поднимала шума, не стала поднимать шума из-за последней большой неприятности. Это самообладание перед смертью придает всей ее прошлой безмятежности что-то почти лучезарное. Это делает ее внезапно наполненной странной мудростью и необычным пониманием; как будто подсознательно она поняла реальную ценность индивидуальной смертности и знала, что она достаточно приятна для улыбок и смеха, но в то же время слишком мала, неустойчива и конечна для больших волнений.

Получив сообщение, что она больше не может жить, и увидев, что Альфонсо внезапно стал внимательным, измученная женщина не стала тратить силы на то, чтобы оспаривать неизменное, а просто тихо лежала в своей постели и пыталась думать о Боге, Пресвятой Деве и потустороннем мире. За несколько дней до своей смерти она написала папе Льву X. Ее письмо - сама степенность и мужество. В нем не было ничего, кроме растерянности или возражений. Если чувство одиночества охватывало ее при расставании с прекрасным домашним уютом смертной жизни, она была слишком великодушно вежлива, чтобы обременять другого человека личным горем. Она писала —

“Святейший Отец и Досточтимый Господь,

“Со всем почтением целую ноги вашего Святейшества и смиренно вверяю себя вашей доброй воле. Испытывая сильную боль более двух месяцев, рано утром 14-го числа текущего месяца, по воле Божьей, я родила маленькую дочь. Тогда я надеялся получить облегчение от своих страданий, но произошло обратное, и я должен отдать свой долг природе. И по милости Божией я сознаю, что конец моей жизни близок и что через несколько часов, приняв святыя таинства Церкви, я уйду из жизни. И придя к этому состоянию, как христианин, хотя и грешник, я умоляю твое Святейшество в твоей благодати дать мне из небесных сокровищ духовное утешение и твое святое благословение для моей души. Я очень искренне молюсь об этом и вверяю твоему великому милосердию моего мужа и моих детей, которые все являются верными слугами твоего Святейшества.

“В Ферраре, 22 июня 1519 года, в четырнадцатом часу.

“Покорный слуга Вашего Святейшества,

Лукреция да Эсте“.

Ни одно более смелое письмо, ни одно более трогательное в своей благородной выдержанности высказывания, никогда не было написано женщиной, знающей, что через

несколько часов жизнь для нее оборвется. Через два дня после написания этого она умерла, и Альфонсо написал после ее смерти, что ему было тяжело смириться с потерей такой милой спутницы жизни, мягкость ее поведения сделала связь между ними очень тесной и нежной. Ни один отдельный человек не может обладать всем набором добродетелей — факт, который слишком часто игнорируется в современных суждениях о персонаже, — но каждый писатель останавливался на мягкости Лукреции. Нет ничего более привлекательного, чем нежная женщина. Стойкая мягкость не только исключает грубые мысли, но и является силой, постоянно выводящей мужчин из состояния бурной горечи и язвительности духа.

Альфонсо упал в обморок на похоронах своей жены, и ничто не могло более красноречиво возразить против утверждений о ее порочности. Суровые мужчины, подобные Альфонсо, после девяти лет брака не падают в обморок из-за женщины, которая не знала, как воплотить в жизнь более мягкие черты характера. Лукреция, должно быть, обладала более чем нормальной степенью примиряющего обольщения. И она по-прежнему очаровательна, несмотря на множество клеветнических сплетен, не только потому, что она неуклонно демонстрировала ободряющую ценность хорошего настроения и подавала такой прекрасный пример того, как отбросить плохие вчерашние дни, но и в определенной степени потому, что, насколько известно, она не проболталась ничего такого, за что биографы могли бы ухватиться, и поэтому навсегда осталась среди всепоглощающих загадок европейской истории.

MARGARET D'ANGOULÊME

1492-1549

Ренессанс во Франции не обладает таким очарованием, как Ренессанс в Италии. Ему не хватает сияния и ощущения сладости на открытом воздухе, которые присущи оригинальному движению. Женщины итальянского Возрождения постоянно путешествовали по этой стране; очарование здешнего климата сохранилось во всех воспоминаниях о них. Эпоха Возрождения во Франции производит иное впечатление — более холодное, беспокойное, нерешительное. Большие расписанные фресками дворцы с их очаровательными колоннадами исчезли, и создается ощущение более мрачного и замкнутого существования. Завораживающая беззаботность итальянского периода не распространилась во Франции. Когда в эту страну пришел Ренессанс, пришла и Реформация, и труды Сорбонны лишили ее молодости и безответственности, которые делали другой мир таким жизненным и целостным. Итальянский Ренессанс вдохнул ликование юности; французский — рефлексию зрелости.

Маргарет Д'Ангулем — центральная женская фигура французского Возрождения. Она родилась 11 апреля 1492 года, когда ее матери, Луизе де Савойя, было всего пятнадцать. До замужества Луиза была бедной родственницей при дворе, и ее тетя, Анна Божеская, устроила ее брак. Луиза де Савойя была одной из женщин, которым не дали достойного старта в жизни. У жениха, Шарля д'Ангюлема, уже была привязанность; он очень любил некую Жанну де Полиньяк. Он делал все возможное, чтобы не жениться на Луизе и таким образом оставаться невозмутимым на службе у своей подруги. Но Анна де Божо была очень властной, и Шарль сдался по

необходимости. Он женился на Луизе, тогда двенадцатилетней девочке, и сделал Жанну де Полиньяк одной из своих фрейлин.

Когда Луизе было пятнадцать, родилась Маргарет, а два года спустя на свет появился Фрэнсис — “Мой цезарь, мой господин”. Год спустя умер муж Луизы. Она упоминает этот факт в своем дневнике без выражения сожаления. Нет, но она была достаточно счастлива при его жизни. Чарльз, поглощенный своими любовными похождениями, позволял своей жене проявлять умеренную свободу в своих увлечениях. Но его смерть сделала такие развлечения менее тревожными и более легкими. В покладистости мужей всегда есть элемент неуверенности.

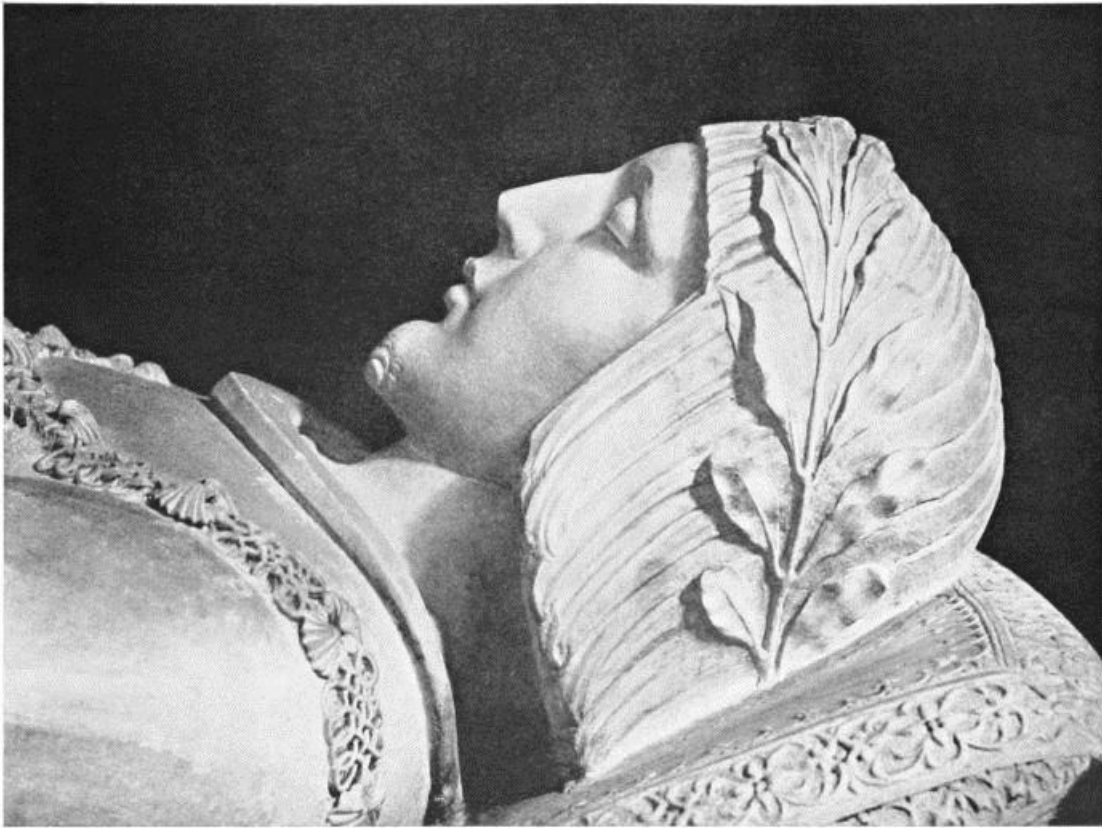
В характере Луизы была еще одна черта, которой смерть ее мужа дала более полный простор, — ее пылкий материнский инстинкт. Качество ее любви к своим детям было неистовым, ревнивым и примитивным. В результате этого Маргарет получила образование в необычной для того периода атмосфере. Снисходительная нежность наполняла ее юношеские дни приятностью. В Коньяке не было строгости. Из Фрэнсиса Луиза сделала кумира, но Маргарет, хотя и была приучена с тех пор, как научилась шепелявить, поклоняться этому идолу вместе со своей матерью, сама была ценным человеком. Сияние этих первых дней оказало на нее влияние на всю жизнь. Она так и не избавилась от душевной теплоты, которую привило ей воспитание.

После вдовства Луизы Людовик XII. короткое время был очень добр к ней и ее детям. Это настроение внезапно изменилось — как говорят, за несколько дней, — и считается, что причиной этого изменения стал некий Жан де Сен-Желе, друг Луизы. Луизе было приказано удалиться в замок Блуа, и поговаривали о том, чтобы забрать у нее детей. В конце концов, маршале де Ги, о трагическом падении которого рассказано в “Жизни Анны”, было поручено практическое управление ее домашним хозяйством. Его первый поступок — предположительно, по приказу Людовика — заключался в увольнении Сен-Гель. Предполагается, что Луиза никогда не простила этого поступка. Де Ги стал ее самым преданным сторонником; все его интересы были на той же стороне, что и у нее, все его цели состояли в том, чтобы впоследствии возвести Франциска на трон Франции. Но когда произошла катастрофа с багажом Энн, Луиза безжалостно использовала против него все свои доказательства и солгала со зловещей сердечностью.

В Блуа Маргарет воспитывалась вместе с мальчиками. Несколько *почетных пажей* обучались вместе с предполагаемым наследником. Маргарет в раннем возрасте многое узнала о темпераментах противоположного пола и о флирте. В девять лет у нее случился первый роман. Неудивительно, что позже она знала, как выразился Брантом, больше об искусстве доставлять удовольствие (*galanterie*), чем о хлебе насущном.

Товарищем по играм, которому Маргарет отдала свое детское сердце, был очаровательный Гастон де Фуа, но среди пажей ее брата было несколько других, сыгравших важную роль в ее последующей жизни. Был, например, Шарль де Монпансье, впоследствии коннетабль де Бурбон, которого Луиза де Савойя, чрезмерно преследуя — как говорят, из—за того, что он отказался жениться на ней, - перешла на сторону Карла V. Этого коннетабля, Генриха VIII. посол Англии сделал пронизательное замечание, когда увидел его на Поле Золотой скатерти. “Если бы он был моим подданным, - сказал он, - он бы не удержался”. Среди пажей в Блуа была также Анна де Монморанси, дружба Маргарет с которой продолжалась еще долго после того, как оба выросли. Своим последующим положением он был во многом обязан ее помощи, но, желая обладать высшим влиянием на самого Фрэнсиса, он возненавидел женщину, которая тоже

обладала столь многим. Недостойное прекращение дружбы началось в беззаботном детстве в Блуа - именно Монморанси сделал Франциску знаменитое замечание: “Если ваше величество хочет избавить страну от еретиков, вы должны начать со своей собственной сестры”, — что было одним из самых острых разочарований Маргарет в жизни.



Алинари

ГОЛОВА ГАСТОНА ДЕ ФУА

Но в детстве ее привязанность к Монморанси была ничто по сравнению с обожанием, которое она испытывала к мягкому, обаятельному Гастону, который все умел делать хорошо и чьи манеры неизменно покоряли сердца людей. К сожалению, в десять лет Маргарет была готова к замужеству, и не успела она достичь этого возраста, как Людовик XII попытался устроить ее брак с английским принцем Уэльским— впоследствии Генрихом VIII. К счастью, Генриху нужен был кто-то более близкий к трону, чем двоюродный брат, и маленькая группа в Блуа осталась целой. Но вопрос о браке всегда витал в воздухе — никогда нельзя было полностью избавиться от ощущения, что размеренная семейная жизнь может прекратиться в любой момент. Позже Маргарет чудом избежала другого мужа-англичанина. Генрих VII, в то время старый вдовец, хотел вторую жену. Он сделал Луизе официальное предложение. Она наотрез отказалась, и тогда посол попросил дочь. Это было принято, и приготовления шли полным ходом, когда Маргарет сама внезапно заставила всех разинуть рты, отказав старому и дряхлому мужу. Брак ни к чему не привел, хотя, вероятно, и не из-за протеста маленькой девочки; против этого были и политические причины.

Тем временем Гастон, влюбленный в детстве Маргарет, покинул замок в Блуа. Мальчик со скромными манерами, известный в народе как “Голубь”, ушел заниматься мужским бизнесом, оставив своего маленького плачущего друга. Но Маргарет к этому времени выросла в интересную девушку. Ее лицо в шестнадцать лет, должно быть, было необычайно притягательным. Она обладала самым редким очарованием — очарованием странности. Ее внешность была не такой, как у других людей. Ее портрет, написанный, когда ей было около двадцати лет, когда она вела Франциска к распятому Христу, полон тонкостей. Лицо круглое, с милой юной полнотой, но подбородок крошечный, привлекательный, неуместный — подбородок мягкого согласия и капитуляции. Нос длинный, чересчур длинный нос Франциска I. Рот восхитительно изогнутый и нежный. Вся нижняя половина лица выражает стремление к нежным удовольствиям и мягким и ласкающим привычкам. Но глаза принадлежат другому темпераменту. Они смотрят со счастливого лица с неожиданной тоской и мистицизмом. Выражение их лиц почти усталое, как будто так много трудных вопросов мешали их пониманию, что они устали раньше времени. Озабоченный взгляд, жаждущий любви подбородок, длинный холодный нос и очаровательные очертания головы составляют необыкновенное сочетание.

Каждый современный писатель соглашался с тем, что Маргарет обладала даром обаяния, и в молодости у нее была такая внешность, которая остается в воображении. Следовательно, неудивительно, что, пока она вздыхала по отсутствующему Гастону, кто-то другой должен был вздыхать по ней. Этот второй любовный роман - одно из интересных событий в жизни Маргарет; он богат информацией о Маргарет, о Луизе, о привычках и обычаях времен Маргарет. Используя вымышленные имена, она рассказывает об этом сама, а также о своей ранней привязанности к Гастону в “Гептамероне”. Бонниве был лейтенантом, когда впервые увидел Маргарет, и он сразу же влюбился в нее. Он сразу же попытался вызвать у нее соответствующие эмоции. Она была принцессой, а он простым джентльменом из хорошей семьи; о браке не могло быть и речи. Но можно жить и без брака, и Бонниве немедленно приступил к реализации плана, с помощью которого он мог бы постоянно находиться рядом со своей соблазнительной дамой. Недалеко от замка Амбуаз жила богатая и некрасивая наследница, родители которой принадлежали к королевскому кругу. Бонниве занимался с ней любовью и женился на ней. Чтобы еще больше облегчить себе прием в замке, его брат примерно в это же время получил должность в доме Луизы. С тех пор Бонниве постоянно виделся с Маргарет. Девушка считала себя несчастной. Ее круглые голубые глаза были печальными из-за того, что они впервые испытали душевную боль. Бонниве, обаятельный и решительный, стал ее другом. Она поведала ему всю свою маленькую невинную историю любви. Он взял на себя роль сочувствующего. Маргарет никогда не могла возненавидеть того, кто ей нравился, и она была в том возрасте, когда чувство, что тебя любят, легко вызывает смутный и мимолетный трепет.

Вскоре Бонниве тоже пришлось уехать — Людовик находился в состоянии войны с Италией, — и в течение двух лет Маргарита не видела ни Гастона, ни своего нового товарища. Когда Бонниве вернулся, его тепло встретили в замке Амбуаз. Но, по-видимому, — возможно, это была уловка - он вернулся заметно подавленным под тяжестью какого-то большого горя. Маргарет начала задавать вопросы. Очевидно, это было сделано только из желания пофлиртовать, поскольку чувства Бонниве никогда не знали секретности, а Маргарет была более чем обычно умна. Однажды они вместе стояли, прислонившись к одному из окон замка. Бонниве перестал говорить о Гастоне и признался в причине своей меланхолии. Сделав это, он заявил, что должен уйти. Маргарет — нельзя не заподозрить, что все это доставляло ей удовольствие, — ответила, что в этом не было необходимости, “она всецело полагалась на его честь, она совсем не

сердилась”; последнее утверждение, во всяком случае, поражает своей безошибочной точностью.

Признание, тем не менее, было ошибкой. Маргарет хотела, чтобы ее любили, и она обожала сияние сентиментальной дружбы. Но Бонниве желал большего и показал, что хотел. Ситуация потеряла свое изящество и непринужденность. Девушка почувствовала, что на нее давят эмоции, устав от простой игривости; ей стало не по себе, и Бонниве, видя, что ситуация становится невыносимой, ушел. Мудрая, серьезная женщина позволила бы ему держаться подальше. Отчасти Маргарет привлекательна для нас тем, что она никогда не была до конца разумной. Ей нравился Бонниве, и она чувствовала, что юное создание, лишенное любви, утратило большую часть изысканности юности. Гастон к этому времени превратился в сентиментальное и довольно жалобное воспоминание; поэтому она написала Бонниве, чтобы тот вернулся. Вдали от других женщин он не мог оставаться прежним — он был одним из тех, кто любит страстно и часто. Он приехал в ответ на ее призыв, но вскоре после этого очередная итальянская экспедиция снова вывела его из-под ее влияния. Во время этой войны он был взят в плен, и Маргарет, как говорят, одновременно постилась и совершала паломничества, чтобы уговорить Бога освободить пленника. Она также пообещала ему перед отъездом, что, куда бы она ни отправилась после свадьбы, она возьмет его жену с собой в качестве одной из своих фрейлин, тем самым обеспечив повторную встречу.

И женитьба, наконец, стала неизбежной. Герцог Алансонский просил ее руки у короля и королевы, и она отказала стольким мужьям, что продолжать упорствовать было невозможно. Маргарет медлила, но в конечном счете не смогла противиться желаниям короля, и хотя, как говорят, она заявила, что предпочла бы смерть, свадьба состоялась при дворе Анны и Людовика 9 октября 1509 года.

Брак был неподходящим во всех отношениях. Герцог Алансонский был хорош собой, но беспозвоночен, ревнив и очень глуп. Это был именно тот тип характера, который угнетал Маргарет, которая в семнадцать лет — или, если уж на то пошло, всю свою жизнь — показала себя страстной приверженкой веселого образа жизни. Мистический оттенок в ее темпераменте был произвольным. Она беспокоилась о душе, смерти и загробной жизни, потому что ничего не могла с собой поделаться; вопросы о поведении и будущем оставались незадавленными и сотрясали ее неконтролируемыми переживаниями. Но в своих собственных желаниях она полностью соответствовала эпохе Возрождения. Она говорит о себе, что “она была *настоящей жизнерадостной женщиной*”, и ее современники подтверждают это утверждение.

Жизнь в Алансоне оказалась для нее более чем неподходящей. Разлученная со своей матерью и Фрэнсисом, двумя людьми, которых Маргарет любила больше всего на свете, и со всем близким по духу обществом, девочка заметно нервничала. Именно в это время в своей переписке с епископом Мо она назвала себя “хуже, чем мертвой”.

Но история ее любви с Бонниве была далека от завершения. Через некоторое время после замужества, когда Маргарет, ее муж и свекровь были вместе, Бонниве снова вернулась с дипломатической службы. Он сразу же отправился в Алансон, предположительно, чтобы повидаться со своей женой. Маргарет наблюдала за его приближением из окна верхнего этажа, опасаясь, что резкостью внезапной встречи она может выдать смятение своего сердца. Это маленькое горячее сердечко стало таким холодным с тех пор, как она вышла замуж. Они встретились, и когда они остались одни, она с радостью вернулась к старой привычке доверять

друг другу. Она рассказала ему о своем замужестве, она говорила о Гастоне и плакала. Бонниве начал надеяться, что она любит его, когда внезапное неприятное событие снова разлучило их. Жена Бонниве умерла; у него больше не было никаких оправданий для того, чтобы околачиваться при Маргарет. Король также отдал приказ о своем отъезде. Но эта новая разлука — его возлюбленная стала более чем когда-либо соблазнительной и всепоглощающей — сказала на его здоровье. Он заболел и слег в постель.

Маргарет — поскольку возраст позволял подобные проявления интимной любезности — отправилась навестить его. Он выглядел таким больным, что она снова расплакалась. Они обе заплакали, и девушка, чьи инстинкты всегда были материнскими, обняла свою больную подругу. Разум должен был предостеречь ее от подобных действий. Но Маргарет, чей интеллект был заметно выше среднего, редко пользовалась им, когда речь шла о любовных сценах — они слишком сильно завораживали ее. Бонниве потерял голову, а его посетитель, испугавшись, начал кричать. Откровенность стала неизбежной. Инвалид настаивал на ее браке без любви, на своем собственном отчаянии и постоянстве. Маргарет погрузилась и стала упрекать его. “В своем горе,” сказала она задумчиво, — она думала, что нашла друга”. Они расстались в третий раз, после чего Маргарет несколько дней только и делала, что плакала.

После дальнейших боев Бонниве получил должность на родине. Герцогиня Алансонская уехала навестить свою мать, и Бонниве знал, что Луиза была его другом — казалось бы, она ненавидела кого бы то ни было, кто был бы более щепетилен в вопросах морали, чем она сама. Однажды вечером, проходя по государственным делам, он попросил разрешения зайти, и Луиза сразу же велела дочери быть готовой, когда за ней пришлют. Маргарет знала характер своей матери; вместо того чтобы повиноваться, она побежала в замковую часовню и от всего сердца взмолилась, чтобы слова сорвались с ее губ, о помощи Небес. Она сделала больше; она взяла камень и терзала им свое лицо, пока щеки не распухли, не поцарапались и не начали кровоточить. Действие совершенно прекрасное. Ни одна девушка не уродует себя, если только фундаментальный инстинкт души не толкает ее на крайние меры ради спасения. Маргарет была напугана — ужасно напугана. Ей нравился Бонниве, она ненавидела своего мужа, и она не была сделана из камня; в конце концов, она была дочерью Луизы и Карла Савойских и сестрой Франциска. Но больше всего на свете она хотела быть хорошей и не знала более надежного способа защититься, чем этот, в то время как юноша был таким горячим в ее пульсирующем теле.

Луиза нашла ее истерзанной и истекающей кровью, но неумолимо оставалась на стороне неправды. После того как девушке наскоро привели в порядок лицо, ее отправили прямо к Бонниве. Наивная грация поступка требовала, по правде говоря, более жалкого поколения, чем поколение Маргарет, для оценки. Ее маленькие ручки были грубо схвачены, и сцена переросла в непростительную и неджентилскую борьбу.

Маргарет закричала, зовя мать. Луизе, которая спокойно проводила свой обычный вечерний прием, в конце концов пришлось пойти к ним. Неловкие объяснения положили инциденту конец, но нет никаких сомнений в том, что Маргарет снова много плакала. Луиза была очень разгневана, и, отказавшись заполучить Бонниве в любовницы, герцогиня Алансонская потеряла своего друга. Ей пришлось вернуться к холодной жизни при дворе своего мужа, оборвав единственную тонкую нить существования. Но когда дело доходило не только до слов — у Маргарет не было предрассудков в отношении речи — она никогда не совершала жизненно

важных ошибок. Поведение было единственным окончательным испытанием, благодаря которому тайна жизни становилась прекрасной и успокаивающей.

В течение шести лет Маргарет жила в Алансоне, и говорят, что в эти годы ее мистические и протестантские симпатии особенно развились. Но об этом периоде известно очень мало, и ничего такого, что было бы хоть сколько-нибудь интимным. Она приобрела известность только с 1515 года, когда Луиза записала в своем дневнике: “Первого ноября 1515 года мой сын был королем Франции”.

Это событие внесло некоторое улучшение в жизнь Маргарет. Фрэнсис заботился и о своей матери, и о сестре; никто не льстил ему с такой несомненной искренностью, как эти двое. После его восшествия на престол герцогиня Алансонская часто бывала при дворе своего брата в Париже. Но промежутки между этими визитами все еще были скучными и меланхоличными. Ее знаменитая переписка с епископом Мо Гийомом Брикonne могла начаться примерно через пять лет после восшествия на престол ее брата, когда Мартин Лютер поднял восстание с проповедью против папы римского. Эти письма пропитаны жалобами. Написанные из Алансона, они читаются как письма молодого человека — несчастного, но не настолько, чтобы из меланхолии сделать что-то вроде милой жалобности. Вопросы о душе начали беспокоить ее. Кроме того, согласно новым и удивительно убедительным доктринам, избежать наказания за распутство в этой жизни было не так-то просто, как протестовали священники. Новые теории находили смутное, нерешительное согласие в ее собственном разуме. Их духовная ясность обладала обновляющей свежестью после беззаконий, в которые впала старая религия. Маргарет была ненасытно любопытна; она жаждала знать все, и когда она начала переписку с Брикonne — в то время симпатизировавшим новой религии — она хотела больше узнать о лютеранской доктрине и о ком-то, кто мог бы разрешить противоречивые неопределенности.

Соответствие экстраординарное. Брикonne, одержимый сложностью стиля, в половине случаев был непонятен. В ответ на какое-то письмо Маргарет, посвященное духовным замешательствам, он написал ей: “Масштабы благ и почестей вашего королевства должны быть голосом, стимулирующим, и великим дыханием, зажигающим поток огня любви к Богу. Увы, мадам, я боюсь, что это вызывает некоторое беспокойство; ибо, как сказал Иеремия, мехи, которые должны разжигать огонь, вышли из строя — *defect sufflatorium in igne!*... Мадам, которая брошена в пустыне, в пустыне заблудилась, ищет уединения и не может его найти; а когда он находит, то ему мешают, это плохой проводник, чтобы вывести других из пустыни и привести их в желанную пустыню. Пустыня морила их смертельным голодом, хотя они должны были бы насытиться до отвала, обостряя желание только утолить его и обнищать до голода”.

Маргарет не могла взять в толк, что это такое. Она написала в ответ с юмором — никто так быстро не рассмеялся: “Бедная странница не может понять, что хорошего можно найти в пустыне, потому что не знает, что она там находится во мраке. Я молю вас, чтобы в этой пустыне, из любви и сострадания, вы не мчались вперед так быстро, чтобы за вами нельзя было последовать, чтобы бездна, через бездну, к которой вы призываете, не поглотила бедного странника”.

Но просьба внести ясность осталась без внимания. Брикonne воспользовался словом “бездна”, и следующий абзац был его ответом. Я привожу его на оригинальном французском языке, поскольку перевод практически невозможен. “*L’Abysme, qui tout abysme présent, pour en le*

désabysment l'abysmes en l'abysme (sans l'abysmes). Auquel abysme est fond sans fond voie des errants," etc.

Маргарет, должно быть, оставила надежду на просветление; но у Брикonne, к счастью, были внятные интервалы. Когда он хотел, он мог писать с той же ясностью, что и другие люди. Однажды, например, после того, как Маргарет написала более печально, чем обычно, он ответил достаточно разумно: "Мадам, вы пишете мне, чтобы я сжалился над вами, потому что вы одиноки. Я не принимаю это предложение. Та, кто живет в этом мире и отдает ему свое сердце, остается одинокой из-за того, что ее плохо сопровождают. Но та, чье сердце обращено к миру и живет ради кроткого и добродушного Иисуса, живет всем необходимым и, конечно же, не одинока". Маргарет отказалась отвечать на это; она так нуждалась в мужчинах и женщинах, в дружбе, в интеллектуальных трениях, в постоянном проявлении любви и доброты. Она снова написала Брикonne, сказав: "Здесь так холодно — сердце заледенело", и подписалась: "Хуже, чем мертва".

Брикonne, возможно, был тронут; молодые женщины не должны быть заброшенными и несчастными. Но он оставался благоразумным и порицал метод подписи. Затем Маргарет с вызывающей кротостью подписала свое следующее письмо: "Хуже, чем больна".

Эта юмористическая покорность показывает, что депрессия, на которую она жаловалась, еще не была горем — всего лишь призрачной меланхолией юности. После дней Алансона подобное больше не повторялось. Однажды пережитая молодость, реальность смерти, безвозвратного горя — до тридцати лет нет ничего безвозвратного — положили конец воображаемой меланхолии. Сознывая, что знакомые муки всегда так близки, разумные люди стремятся использовать все возможности для веселья. Конечно, больше нет игривости в отношении печали, когда подписываешься "Хуже смерти" в настроении веселого неповиновения.

За некоторое время до того, как Фрэнсис начал провальную итальянскую кампанию, Маргарет пережила последний эпизод своей истории любви с Бонниве. Если бы не свет, который она проливает на нравы того периода, ее с таким же успехом можно было бы опустить; и если бы не утверждение месье де Клавьера о ее правдивости, можно было бы с радостью оставить историю в ее последний драматический момент. Бонниве снова женился, и во время одного из визитов Маргарет в Париж он пригласил членов королевской семьи посетить его загородное поместье, чтобы принять участие в большой охоте, которую он организовал. Маргарет дает в "Гептамероне" очень полный отчет о том, что произошло; но в сжатом виде он сводится к следующему — Бонниве, предварительно сделав для этой цели потайную дверь, однажды ночью проник в спальню принцессы. На этот раз Маргарет расцарапала лицо не себе, а своему противнику. Прежде чем ее придворная дама ворвалась в комнату, а ее бессовестный поклонник скрылся обратно через тщательно устроенный люк, внешность Бонниве была грубо изуродована. Он не смог появиться на следующий день; пришлось сослаться на болезнь, чтобы избежать вопросов, на которые нельзя было ответить, и Маргарет больше никогда его не видела. Он был убит в битве при Павии. Они поссорились, но она скорбела о его смерти и до конца своей жизни любила говорить о нем как о дорогом и нежном человеке в своей памяти.

Среди других друзей того периода следует упомянуть поэта Маро. Отец Маро, тоже поэт, был привязан сначала ко двору Анны, а затем к двору Франциска. Сам Маро воспитывался в атмосфере королевской власти. Он был интересной личностью — неизлечимо светлой и неизлечимо честной. Его поэзия, о которой Сент-Бев заметил, что хорошие манеры в поэзии

родились вместе с ним, никогда не была глубокой, но всегда увлекательной, естественной, беззаботной. Он написал много стихов Маргарет в веселой и остроумной манере, которая была присуща только ему. Превосходно сгущенное впечатление о темпераменте Маргарет дают следующие строки:—

“Tous deux aimons la musique chantes,

Tous deux aimons les livres fréquenter,

Tous deux aimons d’aucun ne médire,

Tous deux aimons un meilleur propos dire,

Tous deux aimons gens pleins d’honnêtete.

* * * * *

Tous deux aimons a visites les lieux

On ne sont point gens mélancoleux

Que diraj plus? Ce mot, la dire j’ore

Je le disaj! Que presque en toute chose,

Nous ressemblons, fois que j’ai plus d’envoi,

Et que tu as le cœur plus dur que moi.”

Как личность Маро получил известность только позже, когда начались религиозные гонения. Он склонялся к лютеранству, и Маргарет дважды приходилось спасать его от зловещей машины Сорбонны. Еще позже, после своего второго замужества, она приютила его в Наварре, и когда даже это место стало сомнительно безопасным, она отправила его к Рене в Феррару. Переводить стихи Клемана Маро - значит разрушить все впечатление от их тонкой и остроумной приятности. Следующий пример типичен для его манеры в самом легком ее проявлении. Это стихи к

“UNE DEMOISELLE MALADE.

“Ma Mignonne,

Je vous donne

Le bon jour.

Le séjour

Это тюрьма.

Guerison

Recouvrez,

Puis ouvrez

Vostre porte,

Et qu’on sorte

Понимание.

Кар Клемент

Je vous mande

Va, friande

De ta bouche

Qui se couche

En danger

Pour manger

Кондитерские изделия.

Si tu dures

Trop malade

Couleur fade

Tu prendras.

Et perdras

Точка отсчета.

Dieu te doint

Santé bonne

Ma Mignonne.”

Для поэта было характерно сказать своей подруге, что продолжать болеть означало бы потерять прелестную полноту, которая делала ее такой привлекательной.

В 1524 году Франциск начал отвоевывать Милан, и с этого времени в образе жизни Маргариты произошли большие перемены. Когда он ушел, с ним ушел ее муж, а также Бонниве, Анна де Монморанси и многие другие, которые были ее друзьями. Затем Маргарита переехала в Париж, чтобы составить компанию своей матери, а также бедной королеве Клод, которая находилась на последней стадии чахотки и умерла до того, как Франциск далеко ушел в свое путешествие. Катастрофа в Павии стала почти невообразимым ударом для жителей Парижа. Франциск был пленником Карла V. Говорили, что катастрофа произошла в значительной степени из-за глупости мужа Маргариты, который, будучи предводителем авангарда, не смог прийти королю на помощь. Ла Палис, Байаре и Бонниве, также бывшие среди ее друзей, были мертвы, а Маро и Монморанси оказались в плену. В связи со смертью Палиса люди распевали на улицах несколько нелепых куплетов —

“Hélas, La Palice est mort,

Il est mort devant Pavie.

Hélas, s'il n'était pas mort

Il serait encore en vie.”

С момента пленения Фрэнсиса Маргарет начала переписку, полную почти страстной нежности, с ним и о нем. Поэт доктор Беллей называет Маргарет, Луизу и Фрэнсиса одним сердцем в трех телах, и однажды они были известны как Троица, Маргарет, называя себя последним уголком в ней. Она написала Франциску после того, как его доставили в Мадрид: “Если я смогу быть вам полезной, даже развеять прах моих костей по ветру, не будет ничего плохого, трудного или болезненного, кроме утешения, покоя и чести”.

Следующий инцидент должен был подтолкнуть Маргарет к осознанию колоссального провала в ее жизни. Карл V не согласился бы ни на какие условия мира, по которым Франциск не уступал бы Бургундию, а также все претензии на Милан и Неаполь. Франциск был готов отказаться от притязаний на последние два места, но об отказе от Бургундии, что означало отказ от кусочка Франции, не могло быть и речи.

Маргарет тем временем овдовела. Герцог Алансонский умер вскоре после катастрофы при Павии — говорят, в значительной степени от отсутствия желания жить. Все, включая его жену, смотрели на него с отвращением, поскольку он был в какой—то мере ответственен за поимку короля. Это знание помогло разрушить жизненную силу, хотя, в конце концов, Маргарет ухаживала за ним, нянчилась с ним и простила, как и должна была сделать — высшая необходимость для каждой женщины состоит в том, чтобы обладать способностью прощать бесконечно.

Но едва д'Алансонец успел остыть, как Луиза де Савойя предложила руку Карлу V. Маргарита предложила сестру Карла, овдовевшую королеву Португалии, в жены Франциску. Маргарет, однако, не чувствовала себя польщенной ни в один период своего знакомства с замкнутым испанцем. Он не обратил внимания на предложение Луизы относительно ее дочери. Тем не менее, когда Маргарет начала свое знаменитое посольство в Испанию, в умах всех заинтересованных лиц было почти уверенное ожидание того, что ее личное обольщение окажет большое влияние на быстрое и удовлетворительное освобождение французских заключенных.



КАРЛ V.

Ни Маргарет, ни ее советники ничего не знали о характере человека, с которым ей пришлось иметь дело. Женщина была последним человеком, которому удалось успешно договориться с подозрительным и понимающим императором. С самого начала он был против ее приезда. Его мнение и мнение его окружения откровенно выразил английский посол при испанском дворе: “Будучи молодой и вдовой, она приходит, как говорит Овидий о женщинах, идущих на спектакль, чтобы увидеть и быть замеченной, чтобы, возможно, понравиться императору, а

также посвататься к вдовствующей королеве Португалии для своего брата.... Тогда, поскольку они оба молодые вдовы, она найдет хороший товар в том, чтобы поболтать с ней, чтобы продвинуть дело ее брата, и, если она сочтет, что та склонна к этому, они помогут друг другу ”.

К счастью, Маргарет не знала о взглядах Испании на ее посольство, поскольку даже без этого знания ее нервы могли быть напряжены только из-за критической неопределенности ее экспедиции и серьезности проблем, практически зависящих от ее личного обаяния и дипломатии. Если удастся заставить этого мужчину почувствовать влечение, ее миссия уже наполовину выполнена. Вся Франция смотрела на успех как на определенную перспективу. Ее считали такой умной, такой обаятельной, такой высокомерной и интеллигентной, что, вне всякого сомнения, считалось, что за несколько собеседований она добьется того, на что мужчине потребовался бы месяц, чтобы довести дело до конца. Едва она добралась до Испании, как получила преждевременные поздравления: *“С вами, мадам, почетный гость и по заслугам.”*

Но Маргарет суждено было потерпеть неудачу — горькую, полную и неизбежную. Чарльз демонстративно проигнорировал вопрос о браке в своем ответе на письмо Луизы де Савойя. После встречи с Маргарет это все еще не привлекало его. Само по себе это было, в какой-то мере, неудачей, а также ударом по гордости. На самом деле Чарльз находил ее не только уже не очень молодой и не очень хорошенькой, но и чересчур умной. “Она скорее вундеркинд, чем женщина”, - заметил мужчина, который сам обладал всевозможной проницательностью и нуждался в контрасте для очарования.

Переговоры проходили в Толедо, но с самого начала у Маргарет не было ни малейшего шанса добиться хоть малейшего изменения взглядов. Чарльз отказался пригласить кого-либо из свидетелей их бесед; поэтому все, что он сказал, могло быть опровергнуто, если потребуется. Маргарет написала Франциску из Толедо: “Вчера я ездила навестить императора. Я нашел его очень сдержанным и холодным в своем поведении. Он отвел меня в свою комнату с одной дамой, чтобы они подождали меня”(это было снаружи), “но когда я был там, его речь не стоила такой большой церемонии, потому что он отослал меня совещаться со своим советом и даст мне ответ сегодня”.

Бедная посланница вскоре пришла в замешательство и разозлилась. Она надеялась на великие свершения, завоевав расположение королевы Португалии. Но Элеонору ловко отправили в невольное паломничество, о чем Маргарет написала Франциску: “Это правда, что завтра она отправляется в свое путешествие. Перед ее отъездом я попрощаюсь с ней. Я полагаю, что она действует таким образом скорее из повиновения, чем по собственной воле, поскольку они держат ее в большом подчинении ”.

Более позднее письмо показало, что Маргарет окончательно впала в уныние. И перед окончанием своего посольства, чтобы выразить, насколько глубоко враждебным и недостойным она считает поведение императора, она покинула дворец, предоставленный им в ее распоряжение, и удалилась в монастырь, чтобы нарушить все обязательства гостеприимства.

Переговоры, как известно, ни к чему не привели. Чарльз был полон решимости не ослаблять ни одного требования к женщине, которая обладала всей внешней мягкостью своего брата, всей бойкостью и коварной ловкостью, которые он так хорошо знал в своих отношениях с другой.

Семейное сходство между ними было чрезмерно сильным; Чарльз не мог не заподозрить сестру в том же глубоком, врожденном двуличии, что и брата.

Маргарет потерпела неудачу, и на всю ее жизнь этот резкий публичный провал, должно быть, остался скрытой раной в памяти. Кроме того, после своего поражения ей пришлось нелюбезно броситься обратно в безопасное место. Срок ее безопасного пребывания почти истек, и была получена информация о том, что Чарльз намеревался задержать ее как заключенную, если она превысит этот срок.

Последующее освобождение Фрэнсиса и условия соглашения - вопросы истории. Маргарет не имела к ним никакого отношения, и следующим важным инцидентом, в котором она участвовала, был ее собственный повторный брак с королем Наварры.

Этот брак - одна из глупостей Маргарет. Анри Д'Альбре, который был еще одним пленником, захваченным в Павии, был на одиннадцать лет моложе ее и исключительно хорош собой. Карл V. позже заметил о нем, что, за исключением Франциска, он был единственным человеком, которого он видел во Франции. Маргарет следовало бы знать, что сохранить привязанность красивого мужа, перед которым она имела преимущество в одиннадцать лет старшинства, означало ожидать невозможного. Но во время их первой встречи у них было много общих интересов в интеллектуальном плане, и Маргарет, похоже, влюбилась в его увлечение. Этому браку суждено было оказаться не более счастливым, чем предыдущему; но поначалу все сулило созданию *жуайез ви* более благоприятную жизнь, чем та, которую она знала в течение многих лет. Анри де Наварра был способным и добросовестным администратором; Бордо говорит о нем: “Если бы он не был так увлечен женщинами, как раньше, он был бы безупречен. Он любил свой народ, как своих детей”.

В Наварре Маргарита сделала свой двор домом для трех типов людей — интеллектуалов, геев и гонимых; ибо, пока Франциск был узником в Испании, Луиза учредила инквизицию во Франции. Ученый Берген был первой заметной личностью, принявшей из-за этого мученическую смерть; но как только прецедент был установлен, последовал нескончаемый список, составленный из представителей всех слоев общества. Маргарет пыталась спасти Бергена, и, действительно, с того дня всю свою жизнь пыталась спасти кого-то из печей инквизиции. Флоримон де Ремон в своей “Истории прогресса Эрезии” говорит — и он не был на ее стороне и в другом месте упоминает ее как добрую, но чересчур покладистую принцессу — “Она обладала удивительной ловкостью в спасении и укрывательстве тех, кто подвергался опасности, ради религии”. В качестве еще одного подтверждения есть прелестная ссылка Святой Марты: “Она превратила себя в гавань и убежище для отчаявшихся”.... Видя, как они окружают эту добрую леди, вы бы сказали, что это курица, которая осторожно созывает и собирает своих маленьких цыплят, чтобы прикрыть их своими крыльями”.

Этьена Доле, другого замечательного ученого, который когда-то был другом Рабле, она до последнего стремилась спасти. Она дважды добилась успеха, но Доле спасти было труднее, чем большинство людей, поскольку она по своей природе была сварливой. Среди обвинений, выдвинутых против него Сорбонной, было сделанное им замечание о том, что он предпочитает проповедь мессы, в то время как в своих трудах он, казалось, сомневался в бессмертии души. Одно только первое обвинение было сочтено достаточным основанием для его сожжения. Орриз, инквизитор, с которым позже Рене пришлось иметь горькие дела в Ферраре, возглавлял парижскую инквизицию; и Орриз, обладавший кошачьими манерами убеждения, как говорят,

не находил более подходящего занятия, чем охота, предание суду и превращение в прах еретиков. Сам Долет уже сказал о нем: “Я никогда не знал никого более невежественного, более хитрого или более похотливого после смерти христианина”. Ланот Лайзон добавляет интересный штрих к этому впечатлению. Он пишет: “Орриз был мрачен только с теми, кто не финансировал его кошелек. Он стал мягким и снисходительным к тем, кто ему платил, ... и за круглую сумму от него можно было получить отличные свидетельства о католицизме”. На это снисхождение, однако, нельзя было рассчитывать; у Орриза была хитрость отпускать заключенных, а затем повторно арестовывать их по другому обвинению.

Долет был очень блестящим и очень красноречивым. Его эпиграммы считались настолько хорошими, что один из его друзей умолял его написать такую же на него, чтобы его имя сохранилось в памяти потомков. Маргарет предложила Доле укрыться в безопасном Бурже, но он был слишком безрассуден, чтобы его можно было спасти навсегда. Однажды он сбежал из тюрьмы и, как говорят, был пойман повторно, потому что не смог удержаться от того, чтобы вернуться и повидать своего маленького сына. Он написал в своих Комментариях: “Теперь я перехожу к теме Смерти, крайней грани жизни, ужасной для тех, кто вот-вот умрет”. Это замечательная фраза, торжественная, с простой формулировкой, завораживающая правдивостью.

Говорят, что саму Маргарет охватило нечто большее, чем простое сострадание к новым доктринам. И мучениками становились не только за лютеранство; соперничающий реформатор — не менее жестокий — возник в лице Кальвина, которого Маргарита, как предполагалось, среди прочих, приютила в Наварре. Она, конечно, переписывалась с ним, и Кальвин однажды осудил ее за то, что она укрывает безбожников среди своей паствы. Однако удивительно и тревожно осознавать, как эти протестанты, благодаря поддерживающей их страсти к правильному поведению, переносили невыносимое. Есть истории о смерти после смерти, которые невозможно читать без тоски. Эти мученики Сорбонны сделали даже отвратительные факты душераздирающими и милыми. Например, в 1557 году Кальвин написал письмо, чтобы утешить некоторых обреченных учеников в тюрьмах инквизиции в Париже. Среди них была некая леди Филиппина де Люни. Когда настал день ее сожжения, “палачи увидели ее приближение с улыбкой счастья на лице, одетую в белое, как на праздник”. Как они это сделали? Филиппине де Люни еще не исполнилось двадцати четырех лет.

У другого костра Луи де Марсак был оскорблен тем, что, ведя его к столбу, они не накинули ему на шею уздечку, как сделали остальным членам отряда; от унижения его избавили из-за его благородного происхождения. Он спросил, почему ему отказали в награждении этим “превосходным орденом” мучеников. Другая жертва, Питер Бергер, незадолго до этого воскликнул, как и Стивен, когда пламя добралось до него: “Я вижу разверзшиеся небеса”.

Эти сожжения уничтожили значительную часть изначальной жизнерадостности темперамента Маргарет. Но ничто не длится вечно; событие, от которого у человека белеют губы от ужаса, заканчивается на следующий день; неделю спустя между ними проносятся тысячи тривиальных инцидентов. Семейное существование полно здравомыслия и исцеления. У Маргарет была захватывающая повседневная жизнь, если не считать ее жалкой борьбы за спасение людей, которые радовались новым представлениям о душе и бессмертии. Она часто бывала в Париже, и в это время тоже была занята своими детьми.

Перед рождением своей первенки, маленькой Жанны Д'Альбре с отважным сердцем и напряженной жизнью, Маргарита написала Франциску следующее письмо: “Тем не менее, я надеюсь, что Бог позволит мне увидеть тебя до того, как настанет мой час; но если мне не суждено обрести это счастье, я прикажу прочесть мне твое письмо вместо ”Жития святой Маргариты" (покровительницы беременных женщин), “поскольку оно написано твоей собственной рукой, оно не преминет вселить в меня мужество. Однако я не могу поверить, что мой ребенок осмелится родиться без вашего приказа; поэтому я до последнего буду с нетерпением ожидать вашего столь желанного приезда”. Маленькая леди, которая всегда проявляла независимый дух, очевидно, предполагала, что родилась без приказа Фрэнсиса.

Отношения между Маргарет и ее дочерью - наименее удовлетворительная часть жизни Маргарет. Однажды она была по-настоящему жестока к ребенку — поступок, непостижимый для такого материнского и доброго сердца. Фрэнсис был причиной, но не оправданием поведения Маргарет. Ходили слухи, что она и ее муж вели переговоры о браке ребенка с принцем Испании. Наварра, находившаяся в феодальном владении Испании, тогда снова стала бы свободной, чего Франциск по личным политическим причинам не желал. Поэтому, когда Жанне исполнилось два года, он забрал ее у матери и поместил в мрачный замок Плесси-Ле-Тур, где жил Людовик XI. последние годы своей жизни он заперся за засовами и решетками. Это было похоже на воспитание ребенка в тюрьме. Во всех своих произведениях Маргарет не оставила ни единого слова протеста, и все же в два года ребенок для своей матери - это чудо и опьянение.

Позже, когда Франциск пообещал ребенка герцогу Клевскому, Маргарита была по-настоящему жестока. Брак мог быть только горьким как для нее, так и для Генриха Наваррского. Но Фрэнсис желал этого, и этого было достаточно для Маргарет. Герцог был тяжелым, непривлекательным человеком; и Отагарай говорит, что Фрэнсис первоначально “назвал леди герцогом Клевским без согласия отца и матери”. Когда он назвал его в разговоре с самой леди, которой не было и двенадцати лет, это стало величайшим сюрпризом для старших. Ребенок пришел в ярость от отвращения. Она не хотела выходить за него замуж — за отвратительное иностранное существо, языка которого она даже не понимала. В Плесси было много сцен с непослушным ребенком. Ее отец, который помог бы ей, если бы мог, не имел на это сил, и Маргарет оставалась как лед на мольбах своей измученной дочери.

Так вот, Маргарет однажды написала Монморанси по поводу какой-то женщины, которую Фрэнсис хотел, чтобы она убедила выйти замуж за ее дочь, что леди не понравилось: “Вы знаете, что мой и ее характер настолько различны, что мы не совсем подходим друг другу; ибо победить волю женщины, которую еще никому не удавалось убедить с помощью той, кого убеждают все, мне кажется, мало что обещает, за исключением того, что она будет вести себя по отношению ко мне в своей обычной манере”. В этом “которую убеждают все” было что-то трогательное, но в данном случае в браке Жанны это свидетельствовало о более холодном и безвольном элементе. Она написала Франциску почти безумное письмо, выражая свою “скорбь” по поводу “бессмысленного” заявления своей дочери о том, что она, возможно, не выйдет замуж за герцога Клевского. Затем, поскольку Жанна продолжала бунтовать, Маргарет написала своей гувернантке, что ее нужно силой заставить повиноваться. Правда, двенадцатилетний ребенок не мог быть в состоянии выбрать подходящего мужа, и порка была признанной и широко используемой дисциплиной в тот период. Но Маргарите Наваррской следовало бы знать лучше: она воспитывалась в другой школе чувств.

Вскоре Франциск, опасаясь, что Генрих может спасти его дочь, отдал приказ о немедленном обручении и бракосочетании. Именно при таких обстоятельствах девочка написала свой хорошо известный протест, подписав его своей собственной смелой детской рукой и засвидетельствовав это тремя членами своей семьи. Вот что она сказала: “Я, Жанна де Наварра, настаивая на уже сделанных мною заявлениях, настоящим еще раз подтверждаю и протестую от имени присутствующих, что брак, который желательно заключить между мной и герцогом Клевским, заключается против моей воли; что я никогда не давала на это согласия и не соглашусь, и что все, что я могу сказать и сделать в дальнейшем, с помощью чего можно будет попытаться доказать, что я дала свое согласие, будет насильственно вытеснено против моего желания моим страхом перед королем, моим отцом и королевой моя мать, которая угрожала мне и приказала высечь меня моей гувернанткой, Бейливой из Кана. По приказу королевы, моей матери, моя упомянутая гувернантка также несколько раз заявляла, что, если я не дам своего согласия, я буду подвергнута столь суровому наказанию, что это приведет к моей смерти, и что, отказавшись, я могу стать причиной полного разорения моего отца, моей матери и их дома”.

Несмотря на это, Жанна была замужем, но, к счастью, продолжение продемонстрировало необычное милосердие. В конце концов, она так и не стала женой герцога Клевского. После того как состоялась церемония бракосочетания, ее оставили на два года с матерью, ожидая того времени, когда она станет достаточно взрослой, чтобы присоединиться к своему мужу. По прошествии двух лет герцог Клевский сдался императору и отказался от всех притязаний на свою невесту, поэтому брак был немедленно объявлен несостоявшимся.

На самом деле Жанна не выходила замуж до следующего царствования; но есть одна история из ее загробной жизни, настолько очаровательная, что жаль не рассказать ее здесь. Отец пообещал ей золотую шкатулку, которую носил на длинной цепочке на шее, если она споет старую беарнскую народную песню во время родов. Она согласилась и сдержала свое обещание, поя с отважной настойчивостью в то время, когда большинство женщин мечтают о смерти.

Собственный брак Маргарет оказался несчастливым незадолго до неудачной первой свадьбы ее дочери. Давным-давно в одном из своих писем Монморанси она написала о своем муже: “Поскольку вы с ним, я не боюсь, что все пойдет хорошо, за исключением того, что, боюсь, вы не сможете помешать ему усердно ухаживать за испанскими дамами”. Это небольшое отступление; но примерно в тот же период есть интересное обращение Маргариты к Монморанси, касающееся ее брата: “Мне кажется, было бы разумно, если бы вы в своих письмах восхваляли короля за то большое внимание, которое он уделяет делам”. Это внушение содержит в себе суть отношений женщины к мужчине, которого она любит. Ни одна женщина не может иначе, как управлять существом, о котором заботятся, и уговаривать его, подобно матери, пытающейся склонить ребенка к хорошему поведению.

Маргарет и ее муж расходились во мнениях по религиозным вопросам, а также по поводу других дам. Жанна, которая жила с ними в течение двух лет, пока ждала возможности присоединиться к герцогу Клевскому, писала через много лет после смерти своей матери, что ее отец очень сердился и бил ее, если она проявляла хоть какой-то интерес к новым доктринам, и что она помнит, как однажды, когда с ее матерью был протестантский учитель, он пришел в ярости, чтобы выгнать его. Маргарита, получив предупреждение, уже избавилась от этого человека; но

Генрих, слишком разгневанный, чтобы воздержаться от насилия, подошел и надавал Маргарите пощечин, страстно говоря: “Вы хотите знать слишком много, мадам”. Его поведение стало настолько нежелательным, что Брантом говорит: “Анри Д'Альбре очень плохо обращался с королевой, своей женой, и обращался бы с ней еще хуже, если бы не ее брат Франциск, который высоко оценил его и в конце концов пригрозил ему, потому что он был неуважителен к своей сестре, несмотря на ее высокое положение”.

Маргарет, к счастью, была многогранной; одно несчастье не сделало ее непреклонной к появлению остальных. Вероятно, она пережила период сильнейшей сердечной болезни. Но женщине среднего возраста при любых обстоятельствах приходится проходить через болезненный этап. В жизни каждой женщины есть один период, с которым трудно столкнуться и который трудно вынести — период отказов. Сладости молодости прошли; впереди только быстрое, холодное путешествие в старость, которое нужно начинать со спокойствия и достоинства. Лицо Маргарет в зрелом возрасте говорит о том, что она отказалась от своих обязательств с полнотой и мужеством.

Но — хотя это утверждение является повторением — ни одна человеческая жизнь не может быть постоянно подвергнута пытке. Маргарет, окруженная людьми — своими дамами, поэтами, учеными, художниками и другими — была приятно озабочена. Второй Клуэ нарисовал ее; Леонард Лимузен, великий эмальер, создал ее изысканные эмали. Как и большинство членов королевской семьи того времени, она проявляла большой интерес к своему саду, а в любовных похождениях своих дам неизменно проявляла сочувствие и доброту. Современник писал о ней как о “драгоценной гвоздике в цветнике дворца. Ее аромат привлекал в Беарн, как тимьян привлекает пчелу, благороднейшие умы Европы”.

Это правда, что многие “благороднейшие умы Европы” были увлечены Маргаритой. Даже Рабле, последний мужчина, получавший удовольствие от восхваления женщин без веской на то причины, посвятил ей третью книгу своего “Пантагрюэля”. Рабле, хотя он и был воплощением духа Возрождения во Франции, слишком емок, чтобы фрагментарно упоминать о жизни другого человека. И все же немногие люди того периода производят более приятное впечатление. Он был колоссален во всем; как в сострадании, так и в смехе.

После публикации своих “Гаргантюа” и “Пантагрюэля” Рабле чудом избежал Сорбонны. Но он был мудр и не любил, когда его поджаривали. В “Жизни Пантагрюэля”, имея в виду Тулузу, в то время главный центр преследований, он сказал, якобы о Пантагрюэле, на самом деле о себе: “Но он пробыл там недолго, когда понял, что они не стесняются сжигать своих регентов заживо, как копченую селедку, говоря: “Господь не допустит, чтобы я умер таким образом, потому что я достаточно сух по своей природе, чтобы меня больше не нагревали”.

Бессмысленно здесь ссылаться на грубость Рабле. В настоящее время ни одна женщина не могла прочесть его. Но, с другой стороны, ни одна женщина ради удовольствия не стала бы читать “Гептамерон” Маргарет, а Маргарет, при всей грубости большого количества своих рассказов, обладала способностью к очень тонкой и искусственной утонченности.

Они с Рабле так и не узнали друг друга достаточно хорошо для дружбы; но существует легенда о смерти Рабле, которая очень близко затрагивает ее взгляды на духовные вещи. Друг Рабле, кардинал дю Белле, отправил гонца узнать, как он себя чувствует. Рабле лежал при смерти, когда прибыл гонец, но он прислал следующий ответ: “Я отправляюсь на поиски великого

”Возможно“”. Немного позже, все еще сознавая ничтожность всех человеческих обстоятельств, он достаточно собрался с духом, чтобы произнести последнюю хорошую фразу. “Опустите штору, - как говорят, прошептал он, - фарс разыгран”.

Эта фраза “Я иду искать великого, возможно” была фразой, которую Маргарет могла бы повторить, если бы знала об этом. В ее собственной жизни есть случай, любопытным образом перекликающийся с этим утверждением.

Должно быть, это произошло, когда она была, во всяком случае, средних лет, и мысль о смерти стала навязчиво яркой. Одна из ее фрейлин лежала при смерти. Когда девочка постепенно впала в беспамятство, герцогиня настояла на том, чтобы посидеть у ее кровати. Слуги умоляли ее уйти, но она отказывалась двигаться и сидела, молча глядя на умирающую фигуру. В ее глазах было что-то неестественное, и женщины были озадачены. Когда девушка, наконец, умерла, Маргарет отвернулась; было заметно, что она разочарована. Затем одна из ее фрейлин спросила ее, почему она наклонилась вперед и с таким пристальным вниманием смотрела на губы умирающей девушки. Ее ответ звучит трогательно за его черствостью. По ее словам, ей сказали, что душа покидает тело в момент смерти. Она смотрела и прислушивалась, пытаясь уловить малейший звук, сорвавшийся с губ умирающего тела, но ничего не видела и не слышала. Наблюдение было в значительной степени хладнокровным, но результатом стало трагическое уныние. Казалось, вообще не было ничего, что могло бы укрепить веру.

Тем не менее, если Маргарет иногда чувствовала себя крысой, попавшей в ловушку, поскольку, будучи живым, человек неизбежно и вскоре умирает, она продолжала до конца наслаждаться настоящим, насколько это было возможно. Она дрожала от духовных сомнений, но в то же время написала “Гептамерон”, книгу превыше всего земного, едкого и пронизательного. Говорят, что она была написана для Франциска I. во время его последней болезни. Боккаччо необычайно позабавил его, и Маргарет пыталась рассказывать ему истории в том же духе.

Они есть и их нет. Схема и идея схожи; но Маргарет не была вторым Боккаччо. Она писала легко и непринужденно — она писала бы по роману каждый год, если бы жила в наше время; но там, где Боккаччо был остроумен и легок, Маргарет была безжалостна и груба. Ее жестокость вызывает такое же сильное потрясение, как и ее неделикатность. Например, кажется невероятным, что она написала следующее завершение к одному из своих рассказов. В рассказе было обнаружено, что священник сделал свою сестру своей любовницей. У женщины должен был родиться ребенок. Судьи подождали, пока ребенок родится; затем брат и сестра были сожжены вместе. Сама простота, с которой сделано это заявление, усиливает его ужас. Маргарет писала: “Они подождали, пока его сестру уложат в постель. Затем, когда она произвела на свет прекрасного сына, сестра и брат были сожжены вместе”. Фраза “когда она произвела на свет прекрасного сына” делает этот инцидент живым и невыносимым.

Трудно что-либо сказать о “Гептамероне” Маргарет. Рассказы представляют собой любопытную смесь ужасающей грубости и самого мягкого и скорбящего мистицизма. Что в основном можно понять из них в связи с ее темпераментом, так это то, что наряду с примечательным обаянием и симпатией, она обладала легкой долей безжалостности. Нос Маргарет был слишком длинным. Иметь такой избыточный нос, такой тонкий и заостренный, всегда опасно. Какой-то недостаток равновесия должен сопровождать его непропорциональность, какая-то черточка жестокости - его неблагородную узость. Как на самом деле, несмотря на свой нос, Маргарет была чудом милой доброты, но в отношении ее дочери это побеждало — она была холодной, никчемной

матерью. Опять же, в “Гептамероне” это темперамент, принадлежащий давнему неуравновешенному персонажу, чья ненависть к священникам находила выход в такой безжалостной мести. В какой-то степени маленький подбородок Маргарет спас ее. Уравновешенная, так сказать, между двумя крайностями — холодным, лживым носом и податливым, полным энтузиазма подбородком, — она ухитрялась сохранять баланс между ними и в целом являла собой сложную совокупность характеристик, ни одна из которых не перерастала в подавляющее преобладание. Все характеристики восходящей были хороши — ее инстинкты защиты и наполовину внушающие страх мистические устремления. Задолго до того, как Метерлинк произнес это, у нее возникло ощущение мира, в котором все на самом деле было духовным и зловещим. В одной из историй “Гептамерона” она заставляет даму — на самом деле саму, поскольку сказка, как говорят, правдива, — привести непостоянного возлюбленного к могиле его забытой любви, чтобы посмотреть, не исходит ли какая-нибудь тонкая коммуникация от мертвого тела под ними. Когда он ничего не чувствует, ее разочарование почти болезненно, ибо ни одна черта в Маргарет не делает ее такой милой, как эта беспокойная жажда уверенности в том, что существование было чем-то более глубоким и достойным, чем краткий период страдающего сознания.

В последние годы своего существования Маргарет страдала от слабого здоровья. В 1542 году Марио Кавелли писал о ней: “Королева Наварры выглядит очень хрупкой, такой хрупкой, что, боюсь, ей осталось недолгожить. И все же она настолько трезва и умеренна, что, в конце концов, может продержаться. Я думаю, она самая мудрая не только из женщин, но и из мужчин Франции”.

Должно быть, она была приятной компанией. Так много проницательных мужчин не оценили бы ее общества, если бы она не обладала необыкновенным чувством юмора и сердечностью. Ее беседа неоднократно упоминается как блестящая, красноречивая, полная размышлений и сочувствия.

Франциск I. умер в марте 1547 года. Маргарет сказала, что, когда он умер, она не хотела продолжать жить, но у нее было больше ума и жизненных сил, чем она думала. Ее интересовало все, даже когда она не была счастлива. До последнего она делала все, что могла, чтобы помочь реформаторам — ее муж лишил ее возможности сделать многое. Под руководством Анри и Дианы в Сорбонне возросла трудоемкость обучения. На тему добавленной вольности есть одна юмористическая история, рассказанная Дюшателем, остроумным секретарем Франциска I. Он часто говорил о нем, что он был единственным человеком, знания которого он не исчерпал за два года близости.



МАРГАРЕТ Д'Ангулем
ОКОЛО 1548 года (ПОСЛЕ КОРНЕЛЯ ЛИОНСКОГО)

Дюшатель произнес надгробную проповедь по Франциску и сказал с комплиментарными намерениями, что душа короля отправилась прямиком на небеса. Доктора Сорбонны—

набравшиеся храбрости из-за известного фанатизма нового короля и его любовницы, сразу же пожаловались на это ужасное высказывание. Каким бы благочестивым ни был покойный король, его душа не могла избежать чистилища. Они послали депутатов к Генриху II. обвинив Дюшателя в ереси; на него была старая обида. Королевский *метрдопел* Мендоса принял депутатов и устроил им примирительный ужин, посоветовав не выдвигать дальнейших обвинений. “Я близко знал характер покойного короля”, - остроумно заметил Мендоса. “Он никогда не мог долго оставаться на одном месте. Если бы он действительно попал в чистилище, то пробыл бы там достаточно времени, чтобы выпить чашечку чая и двигаться дальше”.

Пришло время Маргарет “двигаться дальше”. Осенью 1549 года она отправилась выпить минеральной воды, но это не принесло ей пользы. Она страдала чахоткой, и ее состояние не поддавалось излечению. Сообщается, что во время своей последней болезни она сказала, защищая еретиков: “Все, что я делала, я делала из сострадания”. Лучшей причины она назвать не могла.

Ее смерти предшествовали меньшие страдания, чем у большинства людей; она просто впадала в бессознательное состояние. Наконец она на секунду вышла из оцепенения и, схватив крест, лежавший на кровати, пробормотала: “Иисус, Иисус, Иисус”, - и упала замертво.

РЕНЕ, ГЕРЦОГИНЯ ФЕРРАРСКАЯ

1510-1575

РЕНЕ, дочь Анны Бретонской, была, как и ее мать, лишена какого-либо сочувствия к интеллектуальности того периода, в который она жила. Но Эпоха Возрождения вызвала реакцию Реформации, и жизнь Рене интересна как история домашних трудностей, с которыми столкнулся человек, сочувствующий новым доктринам, во время их первых пагубных попыток в Италии. Опасность для человека с такими же взглядами во Франции была замечена в жизни Маргарет Д'Ангулем.

Итальянская карьера Рене интересна, кроме того, как интимная история упрямого, лишенного воображения и неприспособленного темперамента в супружеской жизни, с самого начала обнаруживающая крайнюю несовместимость характеров. Такое обстоятельство может произойти с любым человеком, и каждая женщина справляется с ним в соответствии со своей натурой. То, как именно она это делает, является одним из самых ярких испытаний ее доблести и интеллекта. Истинная женщина эпохи Возрождения — например, Виттория Колонна и Изабелла Мантуанская, доведшие достойную супружескую покладистость до героических крайностей, — сохранила бы внешние удобства, какими бы неприятными ни были мужья. Но Рене, воспитанная людьми, для которых она была просто скучной и нежеланной сиротой, так и не узнала, что небольшие уступки в поведении относятся к числу основных и желательных добродетелей. Ее отец был богат на них, но своевольный дух ее матери, Энн, был более заметен в характере ее второй дочери, чем отцовская черта. Жизнь с Рене, несомненно, затруднила бы привязанность. Но знать ее без раздражения от повседневного общения как сбитую с толку, заблуждающуюся, неуклюжую, задумчивую и нелюбимую женщину - значит испытывать невольное сочувствие. Начнем с того, что она была уродлива, и по своим последствиям нет

ничего более жалкого, чем женское уродство. Кроме того, у нее почти с младенчества не было ни одного человека, который по-настоящему любил бы ее. С самого начала ее характер был холодным и безрадостным.

Родившуюся 25 октября 1510 года, хотя она и разочаровала женщину, жаждущую сына, Рене встретили с осторожной пышностью, граничащей почти с нежностью. Ее крещение стало предлогом для пышного представления, и в отчете о расходах, понесенных на содержание ее детского дома, она названа “очень дорогой и горячо любимой дочерью короля, Рене”.

Через два года после рождения Рене Анна умерла. В пять лет Рене осталась сиротой и вместе со своей сестрой Клод, терпеливой, жалостливой женой Франциска I, с которой плохо обращались, перешла на попечение Луизы де Савойя. Они были детьми самого заклятого врага Луизы; поэтому она не могла поступить иначе, как невзлюбить их. Брантом говорит, что она была чрезвычайно сурова с обоими, и несомненно, что Рене, некрасивая, хрупкая и уродливая, никогда ни для кого не была достаточно важной персоной, чтобы ее можно было склонить к красоте в поведении и чувствах. Нежная Клод, должно быть, любила свою младшую сестру, пока та была жива, но Клод умерла от чахотки почти сразу после отъезда Франциска I. В Италию, когда Рене было всего четырнадцать лет, и с того времени и до своего замужества девушка не знала никого, кто был бы готов выполнить по отношению к ней нечто большее, чем холодный и лишенный удовольствия долг.

Отдавая справедливость Луизе, следует признать, что было приложено все усилия, чтобы найти Рене подходящего мужа. Когда-то они обещали ее эрцгерцогу Карлу, но из-за того, что она не обладала обычной внешностью, пришлось принести некоторые извинения. Жизнь любой девушки, к которой приходится относиться подобным образом, должна быть чрезмерно болезненной. Прежде чем представить невесту эрцгерцогу, считалось обязательным сказать ему, что “очарование ее разговора в значительной степени искупает недостаток красоты”. Предложение ни к чему не привело, и после нескольких других безрезультатных переговоров Франциск остановился на браке с Эрколе Феррарским, сыном герцога Альфонсо и Лукреции.

Это была неподходящая партия для девушки, в жилах которой текла кровь короля Франции. Мезере сказал об этом так: “Король подыскал этой принцессе очень неудачную партию и отправил ее в далекую страну, чтобы она однажды не попросила у него доли в Бретани и в наследстве Людовика”.



РЕНЕ ФЕРРАРСКАЯ, ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН

Мезерей говорил, зная характер Фрэнсиса, но мотивы в данном случае, вероятно, были менее хитрыми, чем он думал. Рене было нелегко выйти замуж за молодую девушку; ее собственный отец много лет назад сказал, что найти для нее мужа будет трудно. Тем не менее, в то время она, вероятно, была так же хороша собой, как и в любое другое время своего существования. Ей только что исполнилось восемнадцать, и, несмотря на небольшое уродство, она обладала определенной осанкой, унаследованной от матери. Кроме того, у нее была белейшая кожа и прекрасные светлые волосы до земли. Говорили, что в то время ей было за что благодарить природу, а не на что жаловаться, и ранние ее портреты, по крайней мере, на самом деле не уродливы. Главное, что поражает в них, - это некоторая вялость выражения, как будто тяжесть духа подавила живость. Ее лицо сильно напоминает о небрежном воспитании ее детства —

голубые глаза апатичны и невеселы, рот задумчиво безжизнен. Вполне возможно, что Эрколе мог бы поцеловать ее с детской непосредственностью; но Эрколе не находил ее привлекательной для поцелуев, и в любом случае она родилась с ограниченной и застывшей серьезностью характера, которая перешла к ней как усиленное качество от ее лишенной воображения и легко впадающей в шок матери.

Эрколе представлял собой полную противоположность своей будущей жене. Его внешность была обворожительной, манеры хорошими; вся культура Возрождения была пропитана его кровью. Поэтому неудивительно, что внешность Рене стала для него горьким потрясением. После первого интервью он написал своему отцу, и прямо заявил: *“Мадам Рене не красавица.”* Посол Феррарезе также написал, что его хозяин предпочел бы, чтобы у леди была фигура получше. Но Эрколь приехал во Францию главным образом для того, чтобы заключить выгодный политический брак, и его возражения лично против бедняжки Рене были значительно перевешены ее происхождением и приданым.

Как ни странно, самой девушке, похоже, красивый итальянец нравился ничуть не больше, чем она ему. На официальной помолвке она вела себя крайне застенчиво и с видимым огорчением. Однако никого не волновало, что она думает по этому поводу, и месяц спустя свадьба была отпразднована. В тот единственный день Луиза, похоже, действительно попыталась извлечь из нее максимум пользы. Великолепные волосы девушки, мягкие и подвижные сами по себе, свободно ниспадали на плечи, а ее алое с горностаем платье буквально сверкало от усыпавших его драгоценностей. Кожа Рене была, несомненно, хороша — Шляпка подчеркивает белизну ее груди и шеи, — и над тяжелым великолепием свадебного наряда ее маленькое смиренное и жалобное личико могло выглядеть только причудливо, привлекательно неуместно.

Последующие празднества продолжались до тех пор, пока и невесте, и жениху не стало довольно комично — из-за переедания и недосыпа. У Рене, которая всю свою жизнь страдала от трагических головных болей, была *мигрень*, и они начали думать, что пришло время отправиться в Италию. Сам Франциск I. сопровождал их до ворот Парижа. Здесь он торжественно вверил свою невестку заботам ее мужа, которому было приказано всегда обращаться с ней как с дочерью королевского дома Франции. Эрколе, чувствуя, что у него нет причин быть застенчивым в своих отношениях с противоположным полом, ответил, что ему не составит труда как понравиться даме, так и управлять ею. Последующие события придали ответу немного юмористический оттенок. Маленькая, кроткая жена, которая услышала это замечание, вероятно, даже без желания улыбнуться, спустя годы оказалась до последней степени несговорчивой. Конечно, Эрколе никогда не удавалось управлять ею.

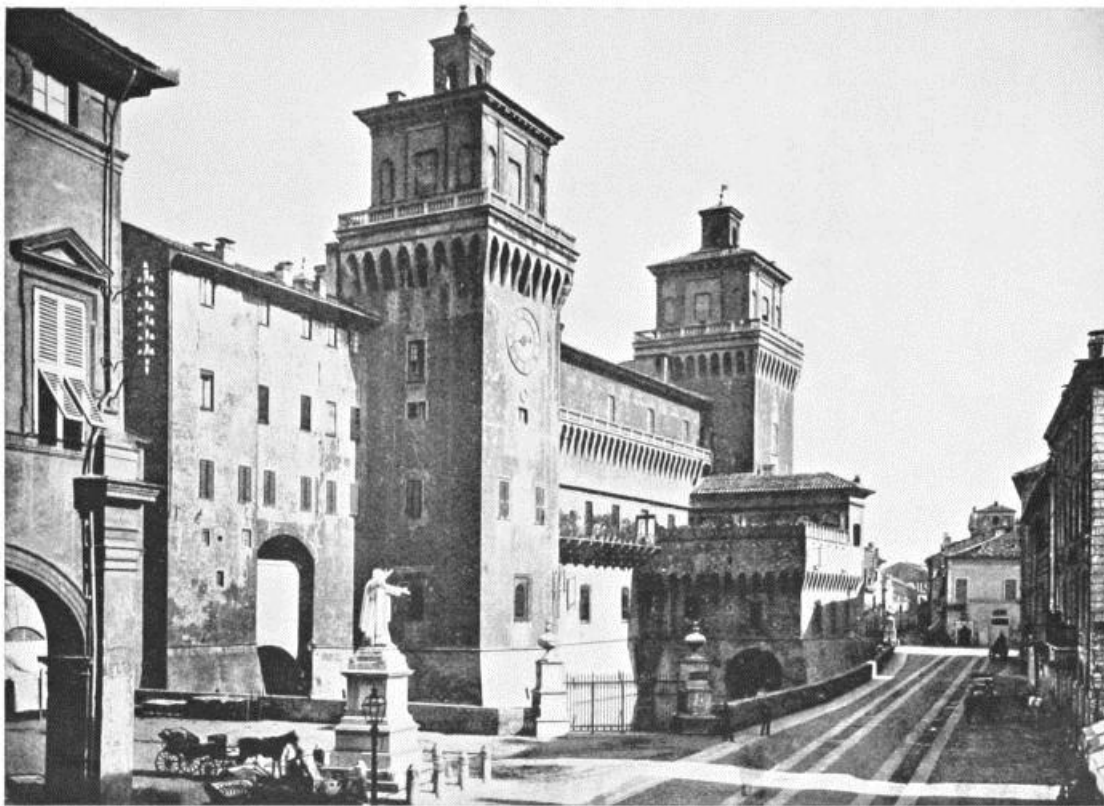
Феррара, на момент замужества Рене, была опустошена чумой. Прежде чем она совершила свой государственный въезд, был издан приказ, предписывающий людям вновь открыть свои магазины, надеть свою лучшую одежду и, каковы бы ни были их личные эмоции, демонстрировать радостное выражение лица при прибытии их будущей герцогини. Были возведены триумфальные арки, окна завешены шелком, и ценой почти болезненных усилий Рене была встречена обычным добродушным приемом народа. Изабелла Мантуанская, тетка новобрачной, всегда пользовавшаяся большим спросом на светских мероприятиях, приехала, чтобы помочь ей в приеме, и несколько дней были заполнены публичными представлениями, банкетами и спектаклями.

Но внешне ни новоприбывшая, ни те, кто ее принимал, не были в радостном настроении. Последней герцогиней, которую приветствовали в Ферраре, была привлекательная, миловидная Лукреция Борджиа, правда, сомнительная в нравственности, но приятная, как цветок, на который приятно смотреть. Эта “уродливая и горбатая” француженка не могла не стать неприятным шоком как для толпы, так и для своих новых знакомых. Горькая судьба некрасивой женщины в том, что она всегда должна уничтожать антипатичное первое впечатление, прежде чем надеяться посеять благоприятное. И Рене, со своей стороны, была так же мало довольна, как и те, кто ее принимал. На самом деле принято считать, что ее мгновенная и сильная неприязнь к Ферраре во многом была связана с ее первоначальными ошибками в Италии.

Конечно, Феррара не была привлекательным городом. Расположенный посреди огромной равнины, он был окружен унылым однообразием, в то время как сам город, в котором в первую очередь учитывались потребности обороны, имел мрачный, зловещий и агрессивный вид. Даже Кастелло казался не более чем мощной и мрачной крепостью. Из-за нездоровых туманов с По климат, кроме того, постоянно подвергался перепадам температур, и одна из придворных дам Рене с горечью описывает его как настоящий рассадник блох. Лягушки квакали всю ночь, а вороны каркали весь день. Кроме того, внутри замок был в плачевном состоянии. Дом Феррара, постоянно испытывавший нехватку денег, имел привычку оставлять дела, нуждающиеся в ремонте, до тех пор, пока в ремонте больше не отпадет необходимость.

Для Рене это место дышало холодом изгнания. Кроме того, поскольку все развлечения, организованные для ее приема, были на итальянском, они только наскучили ей невыразимо. На самом деле, один из самых серьезных недостатков итальянской карьеры девушки заключался в ее нежелании овладевать итальянскими фразами. Она прибыла в Феррару, не имея даже элементарного знания языка своего мужа, и, сразу же почувствовав неприязнь к этому месту и к людям, отказалась предпринимать какие-либо реальные усилия, чтобы выучить речь тех, кто ее окружал. Это медленное и во все времена неэффективное овладение итальянским языком неизменно сказывалось против нее, делая ее, помимо любых других соображений, очень изолированным человеком в своем собственном заведении — аутсайдером там, где она должна была быть центральной фигурой.

Единственной попыткой, которую она предприняла в правильном направлении, было заказать вскоре после своего приезда несколько платьев, скроенных по итальянской моде. Но даже в этом, вероятно, из-за мимолетного восхищения очаровательной внешностью итальянских женщин, она нанесла настоящее оскорбление в этой последовательности. Ибо вскоре после этого, либо из-за горечи души из-за ее собственного убогого вида в них, либо потому, что она намеренно хотела вести себя вызывающе, от них отказались ради ее прежнего французского стиля одежды, который, как она тогда прямо заявила, был “более святым и приличным”. С самого начала Рене упорно отказывалась отождествлять себя с интересами своего мужа. Она с глупым пафосом цеплялась за ассоциации своего отнюдь не счастливого детства и все годы своего пребывания в Италии тосковала по обычаям своего собственного народа.



Алинари

ЗАМОК В ФЕРРАРЕ

На протяжении всего этого ее поведение было безнадежно ошибочным. В браке "отдавай" и "бери" - это часть прекрасных шансов женщины всегда отдавать немного больше, чем ей дают взамен. В то же время сомнительно, что из-за своего уродства и отсутствия обаяния Рене, что бы она ни сделала, могла бы стать популярной. По правде говоря, почти должен существовать другой код для обозначения действительно уродливой женщины. Факт настолько глубок и совершенно трагичен. Нежность - это сердце жизни для женщин, и любая женщина, которой природа настолько злоупотребила, что она не в состоянии пробудить в себе это чувство, становится, благодаря тонкой жалости, неподвластной обычному суждению. Она живет в мире несправедливом и враждебном, практически припертая спиной к стене. Сладкие безумства никогда не приноравливали ее к неразумию человечества; неудачи всегда лежат на ее душе. Ибо унаследованное, глубоко укоренившееся, неискоренимое у большинства женщин неоформленное знание о том, что привлекать мужчин - нормальная судьба их пола; существо, которое не может сделать этого хотя бы раз в жизни, несет в себе скрытое чувство не только одиночества и чего-то жизненно важного, не дарованного судьбой, но и тайного стыда и унижения.

Рене никогда не приходила в замешательство от нелепых похвал. Даже если это единичный опыт, эта безумная беспечность удивительно полезна для характера. Впоследствии женщина узнает — она с сочувствием входит в круговорот событий, — видя драмы других, не как ребенок, уставившийся на голодный магазин, а как человек, который уже наелся пирожных с самыми лучшими из них.

Всю свою жизнь Рене оставалась голодным ребенком, который видит, как другие перекармливают сладостями, в которых ей отказано. Поэтому неудивительно, что она ненавидела легкомыслие и была медлительна в дружеских отношениях. Никакие приятные воспоминания не наполняли ее мысли нежностью, и когда она приехала в Италию, она уже была лишена экзальтации, которая из-за избытка собственного удовлетворения жаждет создать в ней ничего, кроме удовлетворения. За эту непосредственную враждебность, должно быть, в какой-то мере был ответственен Эрколе. Женщина, счастливая в своей супружеской жизни, неспособна страстно восстать против окружающих ее аксессуаров. Рене никогда не любила своего мужа, и тот факт, что она его не любила, возможно, был вызван его нерешительными усилиями в качестве любовника. Восемнадцатилетнюю девушку, некрасивую, заброшенную и непривлекательную, не может быть трудно заманить в ловушку красивому мужчине. Рене, кроме того, была самой обычной женщиной — у нее была врожденная потребность цепляться за кого-то. Это, конечно, наскучило бы Эрколе, будь он тем существом, за которое она цеплялась, но скука, по крайней мере, избавила бы его от многих лет опасных семейных трений и жизни, полной разногласий, в которой он не всегда извлекал из этого максимум пользы.

Как бы то ни было, взаимное недовольство возникло почти сразу. Очень скоро после прибытия в Феррару они начали ссориться. Среди француженок, которых Рене привезла с собой из Франции, была ее старая гувернантка, мадам де Субиз, чьи наклонности были сильно протестантскими. Она внушила такие же симпатии своей ученице, и вскоре после своего прибытия в Феррару новая герцогиня была окружена большим количеством людей, исповедующих новую религию. Значительная часть ее личного дохода также шла на оказание помощи французским беглецам, случайно проезжавшим через город. Эрколе возражал против обоих разбирательств. Присутствие протестантов в его доме представляло реальную опасность для его собственного положения и положения его отца. Срок владения герцогством Феррара зависел от поддержания дружественных отношений с Римом и Германией. Денежную доброту Рене к французским беглецам он назвал “чрезмерными и непродуманными расходами”, а поскольку ее пособие из Франции выплачивалось очень нерегулярно, эта жалоба имела определенную рациональную основу. Никто из прислуги герцогини не был итальянцем, и это было последней невежливостью в ее распорядке, которая усугубляла растущее раздражение ее новых родственников.

Что касается протестантизма в семье Рене, то в возражениях Эрколе об этом не было прямого упоминания. Используя косвенные методы своей семьи, он просто заявил, что герцогиня окружила себя множеством людей, непригодных для выполнения возложенных на них функций. Это, безусловно, было правдой. Определенное количество так называемых слуг Рене абсолютно ничего не делали за свою плату, за исключением того, что она сохранила в памяти некоторые давние воспоминания о своем французском доме. Следовательно, в первой конкретной публикации о трениях между молодоженами большинство обоснованных жалоб принадлежало Эрколе. Однако они показывают, с какой быстротой эти двое действовали друг другу на нервы. Ни один из них, ни на какой стадии их общения, не предпринял ни малейшей попытки занять примирительную позицию.

Щедрость Рене, тем не менее, была искуплением ее характера. Ибо щедрость бывает не одного вида. Есть небрежный выход человека, в основном беспомощного и не желающего произносить неприятные отказы, и преднамеренная, заботливая, постоянная помощь от природы, действительно способной переживать за страдания других людей. Щедрость Рене была в

основном такого рода. Наиболее заметными фактами в книге ее ежедневных расходов являются суммы, пожертвованные в той или иной форме на благотворительность. Похоже, она действительно не могла отказать ни одному крику о помощи и всю свою жизнь с одинаковым удовольствием отдавала как католикам, так и протестантам. Анна была щедра, но в показной и полуприбыльной манере, столь свойственной великим людям. Щедрость Рене была совершенно очаровательной и интуитивной.

Что касается ее отношения к домашнему хозяйству, то гораздо труднее догадаться, что лежало в основе ее сварливого характера. Мадам де Субиз, очевидно, воспитала в ней —*sub rosa*— робкую симпатию к новой религии. Но по характеру она принадлежала к консерваторам; она была в высшей степени из тех, кто считает, что то, что было достаточно хорошо для их родителей, достаточно хорошо и для них самих. А Луиза и Фрэнсис — перед которыми она благоговела, вряд ли приятно восприняли бы известие о том, что ее религиозность стала сомнительной. Вначале нет никаких заявлений, свидетельствующих о том, что ей было не совсем комфортно в тех принципах, которым она следовала. Возможно, на самом деле, что люди из ее окружения изначально были выбраны без намерения оскорбить, из чистой тупости, чтобы понять, что они не подходят друг другу. Затем, когда стало очевидно, что они вызывают у Эрколе раздражение, возможно, ему стало доставлять угрюмое удовольствие сохранять их.

Эрколе и Рене были двумя личностями, которые никогда не должны были сойтись вместе. Оба были способны к приятным отношениям с другими людьми, но между ними существовала инстинктивная и непреодолимая антипатия, которую почти каждая натура испытывает к какому-нибудь одному человеку в мире. Это эмоция, с которой невозможно спорить и которую почти невозможно контролировать. И ни один человек не может проявить наилучшие возможности характера, столкнувшись с другим человеком, в корне враждебным. В присутствии ума, закрытого для восприятия любого вида милосердия и заслуг, только худшее в природе будет подниматься выше всего, проявляясь в отчаянной извращенности, страдании и раздражении. Ради истинной сладости их душ никакие два человека, способные только на взаимное отвращение, не должны даже пытаться жить вместе. Добро — сбитое с толку и подвергшееся нападкам — увядает, как замерзшее растение, в ледяном воздухе бесконечного пренебрежения.

Рене, менее чем через год после замужества, уже писала несчастливые письма во Францию. В одном из них она говорила о том, что с ней плохо обращались, но что она не ожидала, что настоящая правда об этом деле когда-нибудь дойдет до короля и королевы. Она упомянула, что и ее муж, и свекор затаили на нее некоторую обиду. Вскоре после этого она заболела, и на короткое время отвращение Эрколе сменилось смутным состраданием. Каждый день он посылал в Париж по два бюллетеня и почти с намеком на удовольствие сообщал, когда она поправится настолько, чтобы ежедневно ненадолго вставать с постели. Даже после ее выздоровления в течение некоторого времени о ссорах не упоминается. Герцогиня стала *окружением*, и сам по себе факт, что наследник был так срочно необходим, доставлял достаточное удовольствие, чтобы добиться временной терпимости.

Тем не менее, раздражение между мужем и женой, должно быть, тлело не переставая, и после рождения дочери в ноябре 1531 года раздор между ними снова перерос в открытое пламя. Мадам де Субиз стала новым объектом осуждения герцога. На самом деле, большая часть суматохи в жизни Рене была вызвана влиянием ее бывшей гувернантки. Она была достаточно

взрослой, чтобы годиться девочке в матери, и достаточно долго прожила на свете, чтобы знать все необходимые факты о жизни и характере. Рене цеплялась за нее как за единственную подругу, знакомую с детства, и пожилая женщина была в состоянии оказать неоценимую помощь довольно упрямой натуре в первые решающие месяцы брака.

По причинам, которые трудно понять, она поступила с точностью до наоборот. Эрколе ненавидел ее и любой ценой хотел вернуть в Париж. При обычных обстоятельствах это было бы несложно, но положение мадам де Субиз было не таким однозначным, как казалось. Власти Феррарезе прекрасно знали, что она действовала как секретный агент французского короля. Из-за этого увольнение было неполитичным: Феррара не мог позволить себе оскорбить Францию. К чести Эрколе, мадам де Субиз умерла не внезапной смертью. Искушение привести к безвременному концу, должно быть, было необычайно настойчивым.

Вдобавок к домашнему дискомфорту Эрколе, дочь мадам де Субиз также была среди фрейлин Рене. Фактически, примерно в это же время она вышла замуж за месье Понса, еще одного члена семьи, человека, чья последующая дружба с Рене привнесла в серьезность ее характера неуместный намек на скандал.

Пока муж и жена ожесточенно спорили о судьбе мадам де Субиз, Рене родила еще одного ребенка — сына, столь необходимого для благополучия дома. Последовало второе затишье в военных действиях. Впервые с тех пор, как жена Эрколе приехала в Италию, она совершила по-настоящему желанный и примирительный поступок — она родила наследника герцогства. Чувство удовольствия разрядило постоянное напряжение в заведении Эрколе. Даже мать, сознавая, что ее наконец-то одобрили, поддалась теплу мимолетной похвалы и стала почти легкомысленной. Ее наряды во время следовавших за этим торжеств были на этот раз такими роскошными, что о них говорила вся Феррара.

Вскоре после этого умер старый герцог Альфонсо, и Эрколе стал правящим герцогом Феррары. Сообщается о любопытном инциденте, связанном с его восшествием на престол. После религиозной церемонии его инаугурации Рене встретила его у входа во дворец, где, как говорят, в порыве взаимного волнения и удовлетворения они упали в объятия друг друга. На какое-то мгновение интересы мужа и жены совпали. Мотив для этого мимолетного согласия был сам по себе недостаточно достойным, но он необычайно интересен как пример того, как крепкие супруги в силу самой природы брака укрепляются в некоем подобии товарищества и добрых чувств. Огромного количества взаимных интересов должно быть достаточно само по себе, чтобы спасти любого, кроме действительно порочных или ненормально неподходящих, от полного разобщения и антипатии.

Но порыв минутного ликования быстро остыл в случае с Эрколе и его герцогиней. Тайные труды мадам де Субиз препятствовали какому-либо умиротворению, кроме самого краткого. И Эрколе недолго пробыл герцогом, когда пришел к выводу, что даже ценой разрыва с Францией ежедневное причинение ей вреда больше невыносимо. Проявив максимум такта, насколько позволяли обстоятельства, он написал Франциску I по этому поводу и в конце концов получил разрешение на ее отъезд. Но даже в этом случае возникли трудности с самим путешествием, и она все еще оставалась достаточно долго в Ферраре, чтобы уладить последнюю неприятность для Эрколе.

Он ненадолго уехал, и во время его отсутствия мадам де Субиз тонко договорилась с французскими королевскими кругами, что Рене наконец-то отправится с визитом в свою страну. Эрколе вернулся и обнаружил, что приглашение ждет его. Оно поставило его в очень неловкое положение. Несчастливая жена, с трепетом готовая рассказать историю о несчастьях и жестоком обращении, не была политичным человеком, которого стоило посылать к своему собственному народу, когда, если их это устраивало, они обладали властью очень осложнить жизнь мужа. С другой стороны, отказаться - значит вызвать подозрения и неудовольствие.

Не совсем невозмутимый, Эрколе выбрал второй вариант, как менее опасный из двух. В ответ на приглашение из Франции он написал, что у Рене есть несколько маленьких детей, о которых нужно заботиться, и что у нее все еще слишком слабое здоровье, чтобы предпринимать столь долгое и опасное путешествие. Отказ прозвучал для Рене почти как потеря всякой надежды. Мысль об этом была внезапным лучистым предвкусием среди унылой мерзости жизни. Ничто в монотонном существовании не поднимает настроение больше, чем случай, ради которого стоит строить планы, и теперь под внезапным оживляющим влиянием запланированного отпуска ее снова отбросило к старым запутанным трениям ее дней в мрачном Кастелло.

С каждым годом интересы Эрколе все больше расходились с ее собственными. Рене любила Францию инстинктивно, как люди любят родину своих предков. Когда она впервые вышла замуж, интересы Феррары заключались в дружбе с Францией. Но политика Эрколе позже привела его на сторону папы и императора, когда поддержка со стороны Франции перестала быть важной. Таким образом, после того, как мадам де Субиз наконец была выслана из Италии и всякая надежда на возвращение Рене домой исчезла, последняя, должно быть, испытала почти чувство одиночества. Облегчение сердца, вызванное простым рассказом о накопленных неудачах ее супружеской жизни, согрело бы ее душу, как сердечный напиток.

Естественно, она не любила Эрколе больше за то, что он избавился от женщины, которая всю ее жизнь была ей матерью, и за то, что он воспротивился тому сильному желанию, удовлетворить которое было в его власти. Их антагонизм ни на йоту не утих с отъездом гувернантки Рене; Эрколе избавился от одной обиды только для того, чтобы найти другую, ставшую еще более ожесточенной.

Его первая публичная демонстрация состоялась во время службы в Страстную пятницу в церкви Феррары. Когда крест был поднят для поклонения, маленькая певица Дзанетто, состоящая на службе у герцогини, внезапно вышла из здания, произнося богохульные комментарии пронзительным ясным голосом. В тот вечер его арестовали, и в дом Рене ворвались неприятности и опасность. Она сама в течение некоторого времени тайно принадлежала к протестантской партии. Надежда Эрколя на то, что его жена устало смирится с поведением, когда влияние мадам де Субиз будет утрачено, окончилась неизбежным крахом. Рене была катастрофически упряма, и, кроме того, доктрины Кальвина уже слишком глубоко укоренились в ней, чтобы их можно было когда-либо по-настоящему вырвать с корнем. Религия была для нее насущной необходимостью.

Она была нелюбимой женщиной, и, следовательно, другой мир никогда не погружался в неопределенность из-за всепоглощающей достаточности этого. Привлекательность, которую произвела на нее новая религия, легко понять. Ее маленькая душа была узкой, но в то же время пылкой и темпераментно настроенной на строгие и унылые догмы. Рене принадлежала к тому классу людей, которые предпочитают печально относиться к жизни — мрачная религия,

окруженная ужасающими ужасами, отвечала потребностям ее характера гораздо лучше, чем когда-либо могли бы сделать изворотливые и жизнерадостные методы римского католицизма.

Перед инцидентом в Страстную пятницу Кэлвин тайно навещал ее, проповедовал и увещевал. Ни один человек не был лучше приспособлен для того, чтобы удержать власть над Рене, ибо Кальвин был не просто великим проповедником новой религии, он был страстным и деспотичным школьным учителем. Когда позже он взял под свой контроль город Женеву, стало невозможно потакать даже самым незначительным личным слабостям. Домашнее поведение подпадает под юрисдикцию совета, который налагает наказания за наименее нежелательные проявления идиосинкразии. Например, в Женеве Кальвин приказал посадить игрока на час в колоду с повешенными на шею игральными картами; изобретатель маскарада был вынужден просить прощения за это на коленях в соборе; человека, виновного в лжесвидетельстве, подняли на лестницу и продержали там несколько часов, привязав его правую руку к верхушке; в то время как мужчину и женщину, на чьей любви лежало клеймо непристойности, провели по улицам города за злоупотребление добродетельным ужасом. Кальвин вложил огромную энергию в обращение Рене. Как личность он был невысокого мнения о ней, но обращенные среди социально значимых людей имели важное значение для роста дела. Более того, Рене благоговейно и уступчиво соглашалась с учением бескомпромиссного проповедника, пока арест певицы за богохульство не привел к внезапному ощущению опасности в ее доме. Это вызвало панику. На самом деле не за себя — пока Франциск I оставался королем Франции, она безоговорочно полагалась на французскую защиту, — а за людей из своего окружения. Дзанетто, вздернутый на дыбу, сломался при третьем повороте винта, и с его губ слетел список имен. Все они были лицами, состоявшими на службе у герцогини. Несколько человек уже были арестованы как сообщники, хотя в отношении одного из них, которого обычно считают Кэлвином, существует значительная тайна. Аресты были произведены по приказу Эрколе, главным образом, по-видимому, для того, чтобы вывести из себя его жену.

Он был обязан нанести ей новый удар мечом. Этот публичный религиозный скандал представлял для него действительно серьезную опасность. Ватикан некоторое время назад осознал, что новая ересь должна быть уничтожена, если она не хочет стать растущей опасностью для власти в Риме. Помимо этого, Рене вела себя с враждебной хитростью, от которой любому мужчине трудно было добродушно отмахнуться. Она писала тайные письма папе римскому, умоляя его освободить заключенных из-под власти Эрколе и передать их под власть Франции.

В отместку Эрколе посадил Кардильяна, казначея и контролера финансов Рене с момента ее прибытия в Феррару, в тюрьму вместе с остальными. Мало что могло ранить ее сильнее, и сцены, которые произошли между ними из-за дела Дзанетто, должно быть, снова превратили их в незабываемых личностей. Что касается личных интервью, то Эрколе, без сомнения, извлек из этого максимум пользы. Рене не обладала даром поверхностного высказывания; одно только ее лицо говорит о том, что ум легко приходит в замешательство. Но в ее невозмутимом молчании было бы столько же внутренней злобы, сколько и в жестокости другого. Вне всякого сомнения, когда Эрколе приходил в себя, он пугал ее, но не настолько, чтобы ослабить отчаянное упрямство. Все, чего он смог добиться, - это заставить ее ненавидеть его немного отчаяннее, чем раньше, и с новым упорством придерживаться политики обострения. Согласно текущим слухам, Эрколь избил ее. Это обвинение не было доказано, но она относилась к тому типу женщин, которые подвержены жестокому обращению, и более чем вероятно, что так оно и

было. Конечно, к ней не проявляли никакого уважения, поскольку Рене в письме Маргарите Наваррской жаловалась, что инквизитор, у которого она брала интервью по поводу арестованных еретиков, говорила с ней с таким презрением и дерзостью, что другая была бы ошарашена, если бы она присутствовала.

Положение мужа и жены в тот период не могло быть хуже. Пламенное негодование Эрколе также нашло выражение в письме. Оно было написано посланнику Феррарезе при французском дворе. Крайняя осторожность в высказываниях, передаваемых на бумаге, была частью итальянского воспитания, и простая правдивость выражений герцога могла исходить только от человека, задыхающегося от чувства обиды. Он писал: “Если бы не уважение, которым я обязан королю, я, конечно, не потерпел бы такого оскорбления и не показал бы мадам того глубокого негодования, которое я испытываю”.

Шумное беспокойство и возбуждение, вызванные еретиками, тем не менее, сошли на нет. То, что скандал такого рода принял серьезные масштабы, принесло бы суду Феррарезе очень дурную славу. Кардиллан был освобожден и сослан; другим заключенным было удобно совершить побег. Эрколе все же добился своей главной цели — удовлетворения от того, чтолишил Рене еще одной французской прислуги. Вероятно, муж и жена ненавидели друг друга чуть острее, чем раньше, но, судя по всему, очередная буря миновала. Потому что эти двое все еще продолжали делить одну спальню. Вследствие этого они, должно быть, наслаждались перерывами для обычной беседы и кажущегося дружелюбия. Более того, у них были дети. При всем расхождении их интересов оставались некоторые, которые невозможно было разделить. После острой стычки, вызванной неразумием Дзанетто, Рене родила еще одного ребенка. Бытовые мелочи обеспечивали постоянную основу для дружеских бесед в спальне, и, какими бы апатичными они ни были, у них должны были быть, по крайней мере, периоды поверхностного добродушия.

Во всяком случае, внешне в боевых действиях наступило очередное затишье. Двор переехал в деревню и облегчил все своим существованием на открытом воздухе. Маро, которого Маргарита Наваррская отправила к Рене для безопасности, сочинял легкие, соблазнительные стихи о дамах, которыми он мимолетно восхищался. Он также написал сонет самой Рене, который, помимо того, что содержит одну строчку изысканной музыкальности — “*О любви к женским душам*”, — показывает, насколько нескрываемым стал провал ее брака. Фактически, это наводит на мысль, что поведение Эрколе было публично оскорбительным и непростительным. Он написал —

“Souvenant de tes graces divines

Suis en douleur, princesse, en ton absence,

Et si languis quand suis en ta presence

Voyant ce Lys au milieu des épines.

O la douceur des douceurs feminines?

O cœur sans fiel? O race превосходства?

O dur mari rempli de violence.”

Остальное неинтересно. Но ссылка на Эрколе, допускающая предубеждение, не могла быть произнесена, как можно себе представить, совершенно необоснованно. Ни об одном в принципе приятном человеке нельзя было бы говорить так бескомпромиссно, как о погрязшем в ненависти и насилии.

Маро был глубоко солидарен с Рене и написал Маргарет несколько дополнительных стихотворений, которые, как он открыто сказал ей, были призваны передать картину обид и страданий, которым подверглась герцогиня. Все строки, непосредственно касающиеся темы, читались как искренние и живые, в то время как в пронзительной прямоте вступительного стиха прозвучала нотка серьезности. Маро хотел, чтобы королева поняла, что он безошибочно справился с чем—то остро трагическим -

“Playne les morts qui plaindre les voudra

Tant que vivrai mon cœur se résoudra

A plaindre ceux que douleur assauldra

En cette vie.

* * * * *

“Ha Marguerite, écoute la souffrance

Du noble cœur de Renée de France

Puis comme sœur plus fort que d’espérance

Консоль-ля.

“Tu sais comment hors son pays alla

Et que parens et amis laissa là,

Mais tu ne sais quel traitement elle a

En terre étrange.

“De cent couleurs en une heure elle change,

En ses repas percée d’angoisse mange

Et en son vin larmes fait mélange

Tout par ennui.

“Ennui reçu du côté de celui

Qui dut être sa joie et son appui

Ennui plus grief que s’il venait d’autrui

Et plus à craindre.”

* * * * *

Несколько фраз могли бы более явно разоблачить жестокого мужа. Допуская преувеличение, Эрколе явно вел себя как хам, готовя еду своей жене в его присутствии, что было не более чем плачущим мучеником. Рене, безусловно, обладала темпераментом плакать часто и легко, хотя и не бурно; но в Ферраре у ее затуманенных глаз, похоже, было достаточно причин для того, чтобы постоянно и обильно слезиться. У Маро, конечно, не было ни возможности, ни желания останавливаться на промежутках пассивности. Но, как известно, они неизбежно должны были быть за долгие годы итальянского существования Рене. И среди них, безусловно, был визит Виттории Колонна. Она пробыла там десять месяцев, и вся приведенная информация подразумевает, что в течение этого периода в Кастелло царил почти мир. Это делает честь Эрколе, поскольку Виттория Колонна наскучила бы любому, кроме опытного интеллекта. Ее *сильная сторона* заключалась в безошибочном понимании того, что прекрасно во всем — в искусстве, поведении и обдуманности. Умные мужчины обожали ее, и ее ум, безусловно, был внушительным, обдуманным, внимательным и понимающим. Женщина, которая понимала Микеланджело, вряд ли могла не уловить значения менее развитых умов. Но мелкие забавы,

которых у нее не было; необычный, быстрый юмор, с помощью которого утонченные женщины снимают напряжение, никогда бы не смягчили веские аргументы Виттории. Она писала стихи — очень неискренние и натужные, — но у нее не было воображения. Серьезность существования и тот факт, что каждая душа в нем рождена для вечного существования, облекали ее мысли в почти ограничивающую строгость. Немногие шутки прозвучали бы уместно в ее присутствии. Она казалась слишком изысканно рассудительной, хладнокровной и педантично великолепной, чтобы скатываться до смешного.

Несомненно, присутствие Виттории смягчило семейные трения, хотя, несмотря на это, сомнительно, нравилась ли она Рене. Между Витторией и Эрколе есть переписка, но между двумя женщинами ничего не найдено. Виттория Колонна была хороша по своей сути, но она также была триумфальной, избалованной, польщенной и успешной. Когда она приехала в Феррару, ее встретили бурными овациями публики. На фоне умственного великолепия этого деятельного создания незначительность Рене подчеркивалась; контраст выявлял всю степень ее неэффективности. А Рене, почти кроткая на вид, с ее “ослабленным телом”, как выразился Брантом, и расплывчатым лицом, не была кроткой по характеру. Ни разу в своей жизни она не забывала, что, если бы не салический закон, она восседала бы на троне Франции.

Нет никаких заявлений против существования привязанности между двумя женщинами, но вероятность того, что это не так. Гораздо более вероятно, что Виттория действовала на нервы своей хозяйки и охладила ее пыл, несмотря на все свои недостатки в возрасте, какой-то роскошной красотой, которая подчеркивала бледное уродство иностранной герцогини. Неудивительно, что Рене обратилась к сочувствию месье Понса; неудивительно, что она позволила элегантному и дружелюбному французу завоевать ее расположение.

Месье Понс олицетворяет единственный скандал в жизни Рене. Некоторым писателям не нравится месье Понс. Они желают, чтобы страница не была запятнана этим теплым и сомнительным инцидентом. Для них Рене должна предстать безупречной мученицей за дело протестантизма, и эта дружба портит картину. В таких руках месье Понс превращается в незначительное существо, недостаточно существенное для неприличия.

Об этом полностью следует сожалеть. Месье Понс был единственным по-настоящему трогательным обстоятельством в жизни Рене. Нелепо притворяться, что она его не любила. Ее измученное сердце, непривычное к осаде, естественным образом уступило сочувственным ухаживаниям очаровательного мужчины ее собственной национальности. Он занимался с ней любовью осторожно, мягко и, без сомнения, косвенно, в то время как женщина согревалась под ним, прежде чем осознала пугающую приятность этого ощущения. Возможно, у них действительно была симпатия по темпераменту. Месье Понс также, возможно, действительно испытывал легкую сострадательную нежность к хрупкой, уродливой маленькой герцогине, с которой открыто жестоко обращался похотливый и неверный муж. Трудно разобраться в мотивах месье Понса. Те, кто имеет дело с влиятельными людьми, редко забывают о политике. Он был в замечательных отношениях со своей собственной женой. Как и Рене, несмотря на дружбу к мужу, воодушевленную намеком на что-то чуть более живое и пронзительное. Подлинной неприличности, можно быть уверенным, не было. Тем не менее, для тех, кто жаждет скандала, писем герцогини самих по себе было бы достаточно, чтобы очернить характер любой женщины. Они личные, интимные и переплетены с невысказанными заявлениями. На самом деле в них есть шарм — очарование, которое проявляется, когда женщина с некоторым

изяществом ума желает, чтобы ее письмо было в основном убедительной формой флирта. Слово “любовь” в них не упоминается, но, несмотря на все это, это, несомненно, любовные письма. Кроме того, это любовные письма женщины, еще не омраченные неуверенностью во взаимности получателя.

Следует признать, что Рене, если бы она вела себя со строгими приличиями, не написала бы эти документы. Лица, состоящие в браке, лишаются права вести определенного рода переписку. Но нет никаких оснований предполагать, что из-за того, что женщина пишет деликатно кокетливое письмо, за ним скрываются какие-то дурные мысли или что отношения этих двоих в любой момент выйдут за рамки дерзкого дружелюбия. Ошибка обычно совершается, хотя мало что свидетельствует о меньшем знакомстве с человеческой природой.

Рене Феррарская по своему темпераменту была неспособна к скандалу, который ей навязали некоторые из ее биографов. Исходя из самых низменных соображений, у нее не было ни достаточной смелости, ни достаточной податливости для измены. Отличительной чертой характера Рене была ее неспособность когда-либо в чем-либо заходить слишком далеко. Кроме того, нет никаких веских оснований предполагать, что она хотела забыть о праведной жизни ради месье Понса и страсти. Она не была пылкой женщиной; унылое лицо не выражает ничего столь безошибочного, как задумчивая апатия и плохое кровообращение.

Судя по внутренним свидетельствам самих писем, можно обнаружить романтическую и сентиментальную дружбу, или, выражаясь более разговорно, флирт. Но суть флирта заключается в том, чтобы играть в нечто большее, чем есть на самом деле, — умело обходить границы, которые ни один игрок на самом деле не хотел бы нарушать. Ни одна фраза в письмах Рене не обнаруживает желания нарушить осторожные границы. Она также была прекрасно осведомлена о комфортных домашних условиях месье Понса. Мадам де Понс была ее другом, самой близкой женщиной-компаньонкой, которая у нее оставалась. Что более чем вероятно, так это то, что она и мадам Понс — мадам, тайком приложившая палец к носу, — достигли полного взаимопонимания относительно отношений Рене с мужем. Они сошлись во мнении, что боготворят месье Понса, в то время как он, со своей стороны, должен был любить их обоих — хотя Рене, конечно, соблюдала осторожность, благоговение, дистанцию, которой требовал ее ранг.

Мадам Понс была в безопасности; она могла позволить себе этой унылой и одинокой женщине несколько фарсовых иллюзий. В результате Рене получила свою жалкую долю в жизни месье Понса. Настоящее, теплое, уютное владение могло принадлежать только жене, но Рене чувствовала, что у нее тоже есть свое маленькое, неопределенное место; она была включена; она была дорога месье Понсу; у нее было право на конфиденциальность, и, возможно — кто знает? — определенным образом она могла бы передать привлекательность, которой не было у его жены. Странствия неполноценного сердца всегда дикие и немного трагичные.

Письма были написаны во время дипломатической миссии во Францию, с которой месье Понс был направлен герцогом. Они содержат интимные описания мелких повседневных дел, изложенные с прискорбным пренебрежением грамматикой и в то же время с чем-то, напоминающим литературный инстинкт. Читая их, обнаруживаешь, что герцогиня была не совсем глупой женщиной. Не обладая ни малейшими интеллектуальными способностями, она демонстрирует дар иронии, изящного высказывания и косвенного намека, который является совершенно неожиданным.

В одном из них она пишет: “Если это письмо написано плохо, то это из-за места и часа, потому что я пишу в постели, и я начала так рано, что едва могу ясно видеть; но я надеюсь писать больше каждый день, пока Баския не начнет снова. Я начал вчера, в тот самый день, когда он приехал.... Маленький песик подошел и ласкал меня тысячу раз, в промежутках хватая ручку своими маленькими зубками, после чего он подошел и устроился у меня на руке, положив ручку под голову, и так уснул, и я тоже, чтобы составить ему компанию, потому что я не знаю, кто из нас нуждался в этом больше всего”. Эта маленькая собачка и еще одна, очевидно, подаренная ей месье Понсом, несколько раз фигурируют в переписке. Она снова пишет: “Баск расскажет вам о состоянии здоровья вашей жены, о нашей маленькой компании и, прежде всего, о маленьких собачках, которые все еще, как всегда, спят со мной и отказываются отходить от меня”.

О том, как сильно не хватало месье Понса, говорится много раз и по-разному. Однажды она очень красиво передает это в заявлении: “Леслеу говорил, что с тех пор, как вы уехали, дом кажется опустевшим. Он не единственный, кто так думает. Несколько других говорят то же самое, и есть такие, кто слишком хорошо это осознает”. По-французски значение передается более тонко и более определенно. В другом месте она говорит: “Нам нужно, чтобы ты вернул радость, которую отнял своим отъездом”.

Мадам Понс родила мальчика во время отсутствия мужа, и Рене пишет, что он похож на своего отца подбородком и ртом, тут же добавляя, что она поцеловала маленькие губки “два или три” раза. Она также говорит: “У него такое милое выражение лица; всем нравится смотреть на него. Он не дуется, как другие”. Она утверждает, что его рот бесконечно мал. Позже, когда его жене по-прежнему было очень плохо, Рене написал: “Я умоляю тебя постараться вернуться до зимы, как ради нее, так и ради меня, о ком я ничего не скажу, потому что я меньше думаю о своих собственных проблемах, чем о том, чтобы ты преуспел в своем начинании”.

Между ней и месье Понсом не было никаких тайн относительно Эрколе. Она рассказывает дипломату, что посол еще раз затронул тему ее визита во Францию, на что получил обычный ответ: “когда позволит погода”. С восхитительной иронией герцогиня добавляет: “Я думаю, он имеет в виду ”Когда ветер уносит меня”. Она всегда была равнодушна к любовницам своего мужа. И она рассказывает месье Понсу: “В понедельник, в канун дня Святого Иоанна, я повела его (посла) на гору, где месье ужинал с калькавинцами.... На следующий день после рождения вашего сына я ужинал с кардиналом и месье, а в день Святого Иоанна я ужинал в "боске" с месье и послом. Графиня Калькавин была в то время любовницей Эрколе.

В продолжении “ежедневных подробностей” Рене совершенно ясно дает понять, как мало она наслаждалась обществом “месье”. Он попросил ее присоединиться, если она захочет, к небольшой компании, которая проведет вечер на холме — предположительно, у графини. Но, по ее словам, за этим скрывается более широкий смысл, чем выражают сами слова: “Я извинилась, что будет слишком поздно”.

Рене не стала возражать по поводу слов хозяйки. Она довольно весело упоминает о визите к одной из фрейлин Эрколе, завершая: “Вот и весь свежий воздух, которым я подышала с тех пор, как вы уехали, но я жду, пока ваша жена снова встанет, и тогда мы выйдем вместе, и с тем большим удовольствием, потому что вы будете с нами”.

Вызывает глубокое сожаление, что все эти письма, неизвестные Рене, были перехвачены герцогом, хотя он, должно быть, был заинтересован почти презрительным спокойствием своей жены по отношению к нему лично. Рене недоумевала, почему ответов из Франции было так мало. Она и не подозревала, что ее длинная корреспонденция хранилась на попечении ее мужа и никогда не пересекала Альпы. Эрколе, скрытный по натуре и воспитанию, не сделал никаких замечаний по поводу этих перехваченных писем. Имея дом, полный шпионов, он был в положении, чтобы знать, насколько ненадежным на самом деле был флирт. Когда месье Понс вернулся, он позволил себе ту же близость, что и раньше. Только очень скоро после этого Рене отправили в деревню и держали там, вдали от ее подруги.

Затем Эрколе, сочтя момент подходящим, избавился и от жены, и от мужа. Им была навязана история чрезвычайно озорного характера. Обвинения были, по сути, опасны для двух иностранцев, находящихся во власти человека, ненавидящего их обоих. Семья Рене была до глубины души потрясена страхом и возбуждением, и месье и мадам Понс почти сразу же бежали в Венецию. Поступок был не более чем мудрым. Эрколь назвал мадам Понс “адской фурией”. Были бы предприняты любые возможные крайние меры, если бы против них можно было доказать хотя бы часть выдвинутых обвинений.

Последующие месяцы были одними из самых мрачных в жизни Рене. Бегство подруги пробрало ее до глубины души. Осознания этого избежать было невозможно. Ей было за тридцать, и горькое чувство внезапной старости и усталости неизбежно у любой женщины, бесцеремонно брошенной мужчиной, который своей добротой сохранил ее молодость. Вся призрачная надуманность ее власти над месье Понсом была грубо выставлена напоказ. Его жена попала в затруднительное положение; его дело было непосредственно связано с благополучием его жены. Ни одна посторонняя женщина не участвовала в интимных делах. Рене просто бросили, как какого-то ненужного знакомого, а муж, жена и ребенок, чей рот Рене описала как невероятно маленький, практически прекратили ее существование.

Следующим решающим обстоятельством — возможно, самым решающим в долгой и неудобной жизни Рене — была ее встреча с инквизицией. Это высшее испытание характера Рене пришлось на период, когда умер Павел III. и Юлий III. унаследовал римский трон. Павел был мягким и благосклонным к некоторым реформациям в жизни Церкви. Контарини в письме отзывался о нем как о “нашем добром старике”. У его преемника не было склонности к переменам; милосердие не распространяло нежного тепла по его организму. Ересь, исповедуемая герцогиней Феррарской, долгое время пользовалась дурной славой; ее дом представлял собой убежище для еретиков; она позволяла себе посещать протестантских проповедников и протестантские службы. Она перестала посещать мессу, и ее обвинили, хотя это кажется несправедливым, в том, что она ест мясо по пятницам.

Следовательно, положение Эрколе в то время было далеко не легким, основа его политической безопасности требовала, чтобы он поддерживал мир с властями Рима. Новая религия Рене поставила под угрозу его герцогство. Она либо не понимала политических рисков того, что продолжала делать, либо ей было все равно. Но Эрколь, встревоженный и разъяренный, прямо написал королю Франции, высказав все, что он о ней думает. Высказывание больше не было неосторожным. Франциск I уже некоторое время был мертв. Генрих II. не чувствовал себя обязанным терпеть беспокойство пожилой женщины, которую он не знал и чьи притязания на него были ничтожны. Сам будучи нетерпимым католиком, он написал ей, получив письмо

Эрколе, и недвусмысленно объяснил, что если она и рассчитывает на поддержку Франции, то ее уверенность основана на ложных ожиданиях. Он сделал больше — он послал знаменитого инквизитора Орриса с приказом проявить “строгость”, прежде чем возвращаться во Францию, не воспитав в пожилой даме должного религиозного настроя.

Письмо, в котором Орриз получил указания, демонстрирует любопытный метод мышления. Рене призвали легче вернуться к Матери-Церкви, “принимая во внимание великие милости, которые Бог даровал ей, и, среди прочего, то, что она является потомком чистейшей крови самого христианского дома Франции, где никогда не существовало чудовищ”. Предложение заканчивалось заявлением о том, что, если она “решит оставаться упрямой и непреклонной, это вызовет недовольство короля больше всего на свете и заставит его полностью забыть о дружбе, со всеми обрядами и демонстрациями хорошего племянника, он ничего не ненавидит большей ненавистью, чем всех представителей отвратительных сект, смертельным врагом которых он был”.

Следующий абзац был написан еще более откровенно и вполне мог вызвать дрожь у находящейся в затруднительном положении герцогини. Генри писал: “И если после таких увещаний и уговоров, а также тех, которые упомянутый Доктор Орриз применит по-своему и в соответствии с профессией, чтобы заставить ее узнать правду и разницу между светом и тьмой, окажется, что он не в состоянии мягкими средствами завоевать ее и вернуть обратно, он должен посоветоваться с упомянутым лордом герцогом относительно того, что можно сделать с помощью строгости, чтобы образумить ее”.

Положение Рене, наконец, стало тяжелым и опасным. Она стояла, не имея никого, кто мог бы ей помочь, окруженная толпой врагов. С того момента, как Оррис приехал в Феррару, ее жизнь превратилась в кошмар. Когда он решал проповедовать, она должна была слушать; когда он спрашивал, она должна была отвечать; когда он угрожал, она должна была сохранять спокойствие. Утром, в полдень и вечером угрожающее присутствие французского инквизитора заставляло ее дрожать, испытывать тошноту, рваные раны. Его доводы могли быть для нее только пыткой, поскольку в сравнении с утонченностью опытного ловца еретиков менталитет Рене был бы воплощением непоследовательной слабости. Более того, ее внешность не взывала к милосердию; уродливая, унылая и морщинистая, она даже не обладала драматическим достоинством — только слезы и вызывающая мрачность манер. Постепенно, однако, Орризу предстояло обнаружить, что уныние не обязательно сопровождает слабость. Он мог заставить ее плакать, но это было все, что он мог с ней сделать. Его собственный характер, должно быть, быстро обострился. Положение дел делало его смешным. Вскоре инквизитор и ее муж совещались вместе. Неожиданная стойкость Рене оказалась одинаково серьезной для обоих. Эрколе дал слово папе римскому, что леди должна вернуться с должной покорностью в лоно, которое она оскорбила. Рене нужно было как-то обуздать. Слова оставили в ней слезливое упрямство — не оставалось ничего, кроме более суровых мер. Сам Эрколе писал в письме: “Мы держали ее взаперти пятнадцать дней, и прислуживать ей могли только люди, у которых не было никаких лютеранских наклонностей. Мы также пригрозили конфисковать все ее имущество”.



РЕНЕ, ГЕРЦОГИНЯ ФЕРРАРСКАЯ
С РИСУНКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Несмотря ни на что, она выстояла. Какой-то акт мужества, должно быть, усилил сопротивление, но также вероятно, что маленькое создание полагалось на определенный предел преследованиям. Дочь королевского дома Франции стояла слишком высоко для подлинного мученичества. Кроме того, у нее была секретная Булла, ранее данная ей Павлом III, которая освобождала ее от юрисдикции всех местных инквизиций.

До определенного момента, вне всякого сомнения, быть преследуемым доставляет много удовольствия, особенно когда, помимо преследователей, есть люди, осознающие это преследование. Проявлять выдержку - это мягко успокаивает душу. Персонаж, ликующий оттого, что обнаружил себя не совсем никчемным, испытывает радость, несмотря на свою боль. Действительно, мало найдется людей, которые не хотели бы доказать, что они нравственно лучше своего обычного поведения, и которые не были бы воодушевлены внезапной вспышкой внутреннего озарения, когда они позволили добру восторжествовать над пылким и сильным искушением. Во всяком случае, независимо от того, была ли Рене поддержана чувством доказательства чего-то более прекрасного, чем она надеялась, она, безусловно, демонстрировала такое странное спокойствие, что те, кто ее сопровождал, отметили это. Этот факт озадачил всех — она была по натуре явно вялой. С тех пор это приписывали получению Буллы от Павла III, но объяснение маловероятно. Нет ничего проще, чем новая папская булла, отменяющая первую. Кроме того, то, что последовало, показывает, что она либо не воспользовалась ею, либо быстро разуверилась в ее полезности.

Но кризис ее жизни с каждым часом мрачно приближался. Заключение оставило непоколебимой стойкость, раздраженный муж и разъяренный инквизитор бросились на крайние меры, и Рене, герцогиня Феррарская, действительно предстала перед Феррарской инквизицией и была судима этим органом за ересь. Ее ответы на суде не даны, но то, что она вообще прошла через это испытание, вызывает восхищение. Она была совершенно одинока — окруженная римскими католиками и итальянцами - и крайне подвержена прострации и головным болям. Мало кто думал о ней, кроме как о полной неприятности. Тем не менее, она продолжала твердо. Ее ответы, вероятно, были глупыми и повторяющимися, но если внешне она была взволнована, то в основе своей была флегматична. После гневного, шумного судебного разбирательства, в ходе которого никто не смог запугать ее до беспомощности, пришлось признать поражение и вынести герцогине официальный приговор. Возможно, она на мгновение вздрогнула бы, когда это произошло; одно только унижение задело бы ее, как удар по лицу. В этом мире не было ничего, чем она гордилась бы больше, чем тем фактом, что она была дочерью короля; этот приговор ставил ее на уровень любой непокорной женщины, которую Церковь и ее муж считали нуждающейся в наказании. Она должна была подвергнуться вечному одиночному заключению, а у нее должны были отобрать ее детей и большую часть ее доходов.

И все же она сохраняла то же необъяснимое самообладание. Казалось, что какой-то запас внутренней силы делает ее недоступной для личных страданий. Все, кто ее знал, были сбиты с толку. Ибо на следующее же утро после вынесения приговора ее выгнали из Кастелло в старое здание по соседству, где она была заключена под стражу, тщательно подобранную Эрколе. Двое слуг, также отобранных им, были единственными людьми, которым разрешалось находиться в ее присутствии.

Она продержалась неделю. Этого было слишком мало; простая угрюмость могла бы выдержать этот период. Шесть месяцев сделали бы ее отзывчивой и достойной, неделя сделала бы бесполезной ее прежнюю стойкость. Тем не менее, следует иметь в виду, что пожизненное заключение с двумя иностранцами другого класса очень холодно для сердца после того, как угас первый огонек сопротивления. Рене познала свой триумф. Знаменитый инквизитор, так гордившийся своим безошибочным методом, напрасно потратил хитрость. Они были вынуждены заставить ее замолчать по той унижительной причине, что ни один из них не смог

сдвинуть ее с места ни на йоту. У нее была эта победа, которой она могла радоваться всю оставшуюся жизнь.

В течение дня или двух она, вероятно, жила, поддерживаемая радостью непоколебимого поведения. Затем постепенно смысл одиночества на всю жизнь овладел воображением. Во всяком случае, к концу семи дней все в Ферраре знали, что герцогиня сдалась. Новость довела ее до абсурда; у нее хватило мужества, чтобы свести с ума, и не более. Капитуляция, однако, была полной. Она не только открыто выразила свое желание посетить мессу, но и свою готовность вернуться к исповеди. По ее собственному выбору послали за духовником-иезуитом, и в “потоке слез” было произнесено необходимое отречение.

Охрана была немедленно отозвана, и ее обычным домочадцам разрешили возобновить посещение. Борьба была окончена. Эрколе, наконец, почувствовал, что приручил ее, и через несколько дней на поверхности не было никаких признаков того огромного потрясения, которое она пережила. Только протестанты стояли в ужасе. Кальвин с горечью написал, услышав об этом: “Что мне сказать, кроме того, что постоянство - очень редкая добродетель среди великих мира сего?” Олимпия Мора, у которой в мыслях было большое место, оставленное Рене, заявила, что она не удивлена, и что она всегда говорила, что это было *наедине с собой*.

Несмотря на это, в одном вопросе герцогиня осталась неожиданно твердой. Она во многом уступила. Но она подвела черту под будущим, разыгрывая любовные сцены с человеком, из-за которого ее судили и посадили в тюрьму как обычную преступницу.

Со времени суда над ней Рене жила в отдельном помещении, хотя Эрколе, которому она не могла предъявить никаких прав, даже это посчитал оскорблением и пожаловался, что “герцогиня отказалась возвращаться в комнату, которую они делили пятнадцать лет и в которой у них родились такие прекрасные дети”.

После этой короткой, напряженной и бесполезной драмы интерес к жизни Рене улетучивается. Остаток, каким бы долгим и непонятным он ни был, читается как антиклимакс. Она так и не познала ни года безмятежности до конца своего долгого и богатого событиями существования. И все же во всем, что последовало за этим, есть определенная одинаковость и монотонность. Несчастья постоянно повторялись, а также жалкие попытки оставаться твердыми в протестантизме только для того, чтобы снова вернуться к старой вере своего народа.

В 1559 году Эрколе умер, и с этого дня Рене полностью перешла из сферы Возрождения в сферу Реформации. Она вернулась во Францию и переехала жить в город Монтаржи, который принадлежал ей. Комфорта она больше никогда не знала. Ее замок был настолько постоянно переполнен, что людям стало невозможно передвигаться по нему. Брантом, который посетил ее там, говорит, что во время своего визита он увидел “триста протестантских беженцев”. Ужасы, кровопролитие и преследования стали ее ежедневными заботами. Кровь в тот период во Франции заставляла мир казаться красным. Во время Варфоломеевской резни она была в Париже и девять дней оставалась взаперти в своих комнатах, прежде чем ворота Парижа снова открылись, и она смогла улететь обратно в Монтаржи.

Но последняя часть ее существования благородно искупила удручающую бесполезность начала. Она посещала мессу и заявляла, что является скромной и послушной дочерью папы римского, когда не было выбора между этим и изгнанием из Монтаржи. Но постоянно, ежечасно и без колебаний она помогала всем, кто приходил к ней.

На момент смерти ей было шестьдесят четыре, хотя задолго до этого она выглядела на все сто. Все ее друзья умерли раньше нее. Даже Кэлвин, который со дня ее отъезда из Феррары был настоящей опорой ее существования, ушел из жизни двенадцать лет назад.

Хотя почти все лучшее, что было от эпохи Возрождения, казалось, было собрано за время существования Рене, трудно вспомнить, как она была связана с этим. Тинторетто, Тициан, Корреджо и Рафаэль были радостью Италии при ее жизни. Ариосто, Тассо, Монтень — все они принадлежат к этому периоду: Ариосто умерла, когда ей было двадцать три, в то время как Тассо пережила ее на много лет. Всю свою замужнюю жизнь она провела при дворе страстных ценителей и никогда не переставала любить дешевую майолику. Ее ниша была в монастыре, больнице или школе для сирот, а не в центре художественного и литературного расцвета.

Она всю свою жизнь была несчастной, и даже после смерти ее трагическая судьба оставалась помехой. Ее сыну, Альфонсо III, было трудно принять решение относительно того, как вести себя в этих обстоятельствах. Она была его матерью, но она также была еретичкой. В конце концов он пошел на компромисс, объявив траур на короткий период, но отказавшись от каких-либо траурных служб. Они похоронили ее в Монтаржи, и на ее могиле не было никаких упоминаний об Италии или о ее стеснительной связи с Домом Феррара. Надпись содержала только слова —

“Renée de France, Duchesse de Chartres, Comtesse de Gisors et Madame de Montargis.

Пусть многие дочери Франции еще поднимутся, чтобы подражать примеру ее веры, терпения и милосердия”.

На первый взгляд уместным кажется только последнее достоинство. Но изящество жизни Рене заключается в том, что она использовала его для развития. Зацикленная на себе, недружелюбная девушка, которая дралась с Эрколе, медленно, но важно училась на собственном опыте. Искалеченная как природой, так и обстоятельствами, она все же прошла путь от бурных спотыканий юности до старости, все еще достаточно неуклюжая для глаза, видящего только в моменты уныния, но утонченная для сознания, осознающего, как непрерывно развивалась душа благодаря каждому неблагоприятному событию существования. Девочкой Рене была слишком сварливой, чтобы не обращать внимания на собственное уродство. Но, став старой женщиной, она не придавала этому значения. Несомненно — хотя, вероятно, и бессознательно — она наконец поняла, что именно то, что природа дает изнутри, является высшим критерием ценности, и что великому сердцу нет отказа, и не может быть — при колоссальной и непрекращающейся потребности мира в сочувствии — ничего, кроме приветствия и признательности.

НАПЕЧАТАНО ИЗДАТЕЛЬСТВОМ WILLIAM CLOWES AND SONS, LIMITED, ЛОНДОН И БЕККЛЗ.

Архаичное и вариантное написание сохранено в печатном виде. Сюда входят французские варианты, например, *hommage*. Автор использует как *Мезере*, так и *Mezeraï* для обозначения французского историка.

В качестве возможных ошибок были отмечены следующие:

Страница [xv](#)— ссылается на иллюстрацию, обращенную к странице [140](#), как на изображение Святой Урсулы; однако в подписи к табличке указано, что на ней изображена остров Святой Елены. Ссылаясь на оригинал *Grandes Heures* (доступен на Gallica по адресу <http://gallica.bnf.fr>), можно сделать вывод, что подпись к табличке верна. Однако различные ссылки сохранены в печатном виде.

Страница [102](#)— включает цитату “целомудренно и благочестиво”. Это было сохранено в напечатанном виде, исходя из предположения, что именно так было написано в оригинальном источнике.

Страница [114](#)— включает термин “зебелин”. Чаще это пишется как “зибелин” или “zibelline”, но сохраняется в печатном виде.

Страница [115](#)— в отрывке из “Фарса дю Кювье” упоминается один из персонажей как Жакме; однако в оригинальном источнике (“История французской литературы”, том 1, Анри Ван Лауна, 1878) этот персонаж указан как Жакино. Оно сохранилось здесь в напечатанном виде.

Страница [218](#)— включает цитируемый материал ‘defect sufflatorium in igne’. Это должно быть “defecit sufflatorium”, но поскольку материал цитируется, он сохраняется в печатном виде.

Страница [222](#)— включает цитируемый стих Маро. Ссылки на другие издания работы Маро предполагают, что этот стих следует читать следующим образом:

‘Tous deux aimons gens pleins d’honnesteté,

Tous deux aimons honneur & netteté,

Tous deux aimons à d’aucun ne mesdire,

Tous deux aimons un meilleur propos dire,

Tous deux aimons à nous trouver en lieux,

Où ne sont point gens melancolieux,

Tous deux aimons la musique chanter,

Tous deux aimons les livres frequenter:

Que diray plus? Ce mot là dire j'ose,

Et le diray, que presque en toute chose

Nous ressemblons: fors que j'ai plus d'esmoy,

Et que tu as le cœur plus dur que moy:'

Цитируемый вариант в тексте сохранен в печатном виде.

Страница [224](#)—Байаре, вероятно, следует читать как Баярд, но оно сохранилось в печатном виде.

Страница [231](#)— содержит ссылку на название "История прогресса в Ереси", но без акцентов. Это сохранилось в напечатанном виде.

Исправлены незначительные пунктуационные ошибки.

Расстановка переносов сделана последовательной.

Были внесены следующие поправки:

Страница [xiv](#)—Кревелли исправлено на Кривелли —... как портрет Лукреции Кривелли, ...

Страница [18](#)—Гильбеллины, измененные на гибеллинов —... между гвельфами и гибеллинами сиенсов, ...

Страница [18](#)—Novescli исправлено в Noveschi—Члены *Noveschi* и *Dodicini* ...

Страница [32](#)—непредвиденное изменено на неожиданное —... случайные инциденты и неожиданные импровизированные меры по очеловечиванию.

Страница [35](#)—правила поведения при дворе изменены на правила вежливости — Он даже восхищался прекрасными платьями и вводящими в заблуждение правилами вежливости ...

Страница [46](#)—к сожалению, исправлено на к сожалению —... которому Кэтрин написала к сожалению суровое письмо, ...

Страница [49](#)—Джакоме исправил на Джакомо—... о мертвом человеке, сире Джакомо, ...

Страница [64](#)—его поправка к ней —... которая после ее смерти должна была стать преемницей ...

Страница [65](#)—Паллиссена исправлена на Палиссена — Не только Тротти, но и Палиссена Д'Эсте, ...

Страница [66](#)—Муратарии исправлено на Муратори—Муратори, написав о ней ...

Страница [66](#)—Муратарий исправлен на Муратори—Муратори также затрагивает ...

Страница 66—предпочтение изменено на пристрастие—В одежде у Беатрис было одно особенное пристрастие ...

Страница 81—висконтис исправил на Висконтис — Висконтисы владели им в феоде ...

Страница 117—Божо исправлено на Божеское—Анна Божеская, бывшая регентша—суровая, ...

Иллюстрация на первой странице 120—КАЛЕНДАРЬ изменен на CALENDRIER—ИЗ CALENDRIER

Страница 135—документ с поправками к доктрине—... который не содержал ложных доктрин, ...

Страница 147—dairy исправлено в дневнике—... Луиза записывает это событие в свой дневник ...

Страница 153—Родрикес исправил на Родригес—... тогда известный как кардинал Родригес, ...

Страница 156—Medeci исправлено на Medici—... но Джованни де Медичи, ...

Страница 166—flightly исправлено на flighty—... идеальный инструмент, по-детски взбалмошный, изначально послушный, ...

Страница 177—Макиавелли с поправками Макиавелли —Это было повторено Макиавелли, ...

Иллюстрация на первой странице 188—СУССАНА исправлена на СЮЗАННА—СЮЗАННА И СТАРЕЙШИНЫ

Страница 224—Часть изменена на Ravie—иль есть смерть деванта Ravie.

Page 279—côté amended to côté—Ennui reçu du côté de celui ...

Страница 283—Pon исправлено в Pons — Трудно исследовать мотивы месье Понса.

Страница 296—Фаррара исправил Феррару —... и Рене, герцогиня Феррарская, ...

Page 299—legère amended to légère—... said it was *une tête légère*.

Страница 301—Тинторетти исправил Тинторетто—Тинторетто, Тициан, Корреджо и Рафаэль ...

Записи в указателе приведены в соответствие с основной частью текста, а именно:

Страница 305—Bazaret исправлено на Bayaret—Bayaret, 224

Страница 305—д'Эсте исправлено на Д'Эсте—Бари, герцогиня де. См. Беатриче Д'Эсте

Страница 305—д'Эсте с поправками на Д'Эсте и Д'Эсте с поправками на Эсте—Беатрис Д'Эсте. Видеть Эсте

Страница 305—Божо исправлено на Божеский—Божеская Анна, 117, 203

Страница 305с поправками, внесенными дю—Белле, кардиналом дю, 243

Страница 306—Джофра с поправками к Джофре—Борджиа, Джофре, 164

Страница 306—Клавьер исправлен на Клавир, а Манльде исправлен на Молде—Клавьер, Р. де Молде ла, 221

Страница [306](#)—Корреджио исправлено на Корреджио—Корреджио, 301

Страница [307](#)—Паллисенна исправлена в Палиссена—Эсте, округ Палиссена, 65

Страница [307](#)—Гвельфы изменены на гвельфов—Гвельфы, 31, 34

Страница [307](#)—д'Эсте с поправками на Д'Эсте—Изабелла Д'Эсте.

Страница [308](#)—д'Эсте с поправками на Д'Эсте—Леонора Д'Эсте.

Страница [308](#)—Д'Альбер исправлен на Альбре—Наваррский, Анри де. *Увидеть Альбрета*

Страница [308](#)—Орис с поправками, внесенными в Орриз—Orriz, 232, 233, 292-294, 298

Страница [309](#)—Палисе исправлено в Палице—Палице, Лос-Анджелес, 224

Страница [309](#)—Райнальдас исправлен на Райнальдус—Raynaldus, 33

Страница [309](#)—Remond исправлено в Rémond—Ремон, Флоримон де, 231

Страница [309](#)—Каллаквини исправлен на Каллагнини—Строцци, Каллагнини, 190

Страница [309](#)—Николас исправлен на Николаса—тоledo, Николас ди, 17-21

Иллюстрация на фронтисписе перенесена на титульный лист. Другие иллюстрации были перемещены там, где это необходимо, чтобы они не находились в середине абзаца.

Для удобства читателя в начало указателя добавлены алфавитные ссылки.